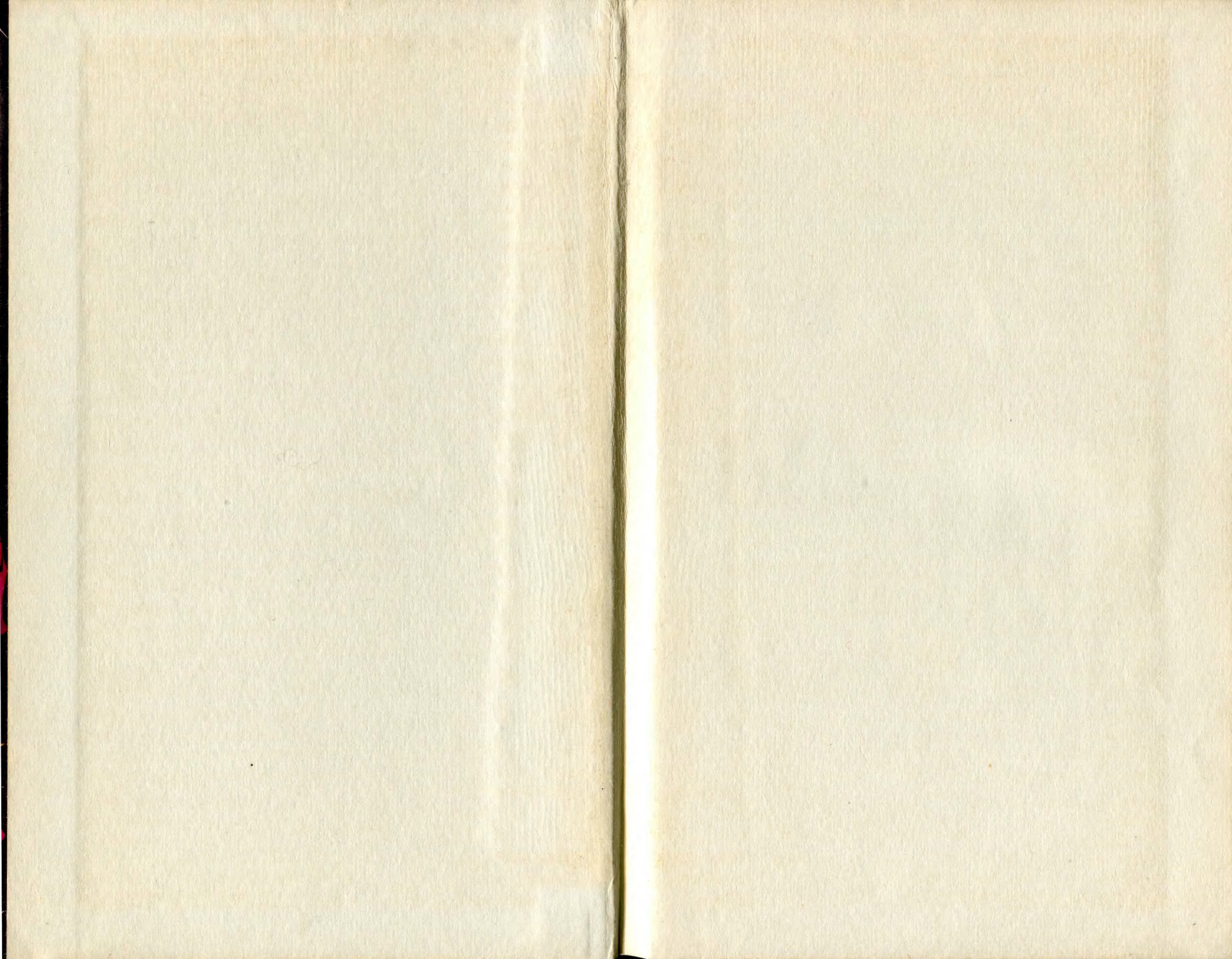


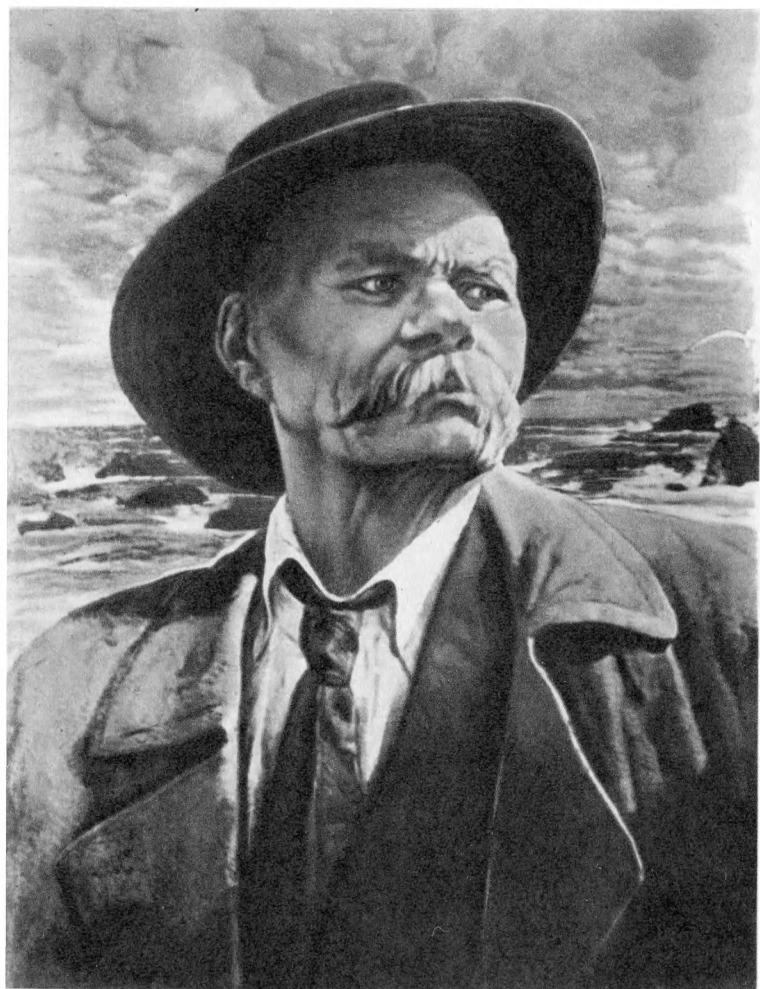
М. Горький

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





М. Горький. С портрета И. Бродского.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

М. Горький

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**



МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

F2
F71

Г $\frac{70803-263}{M101(03)75}$ 481—75

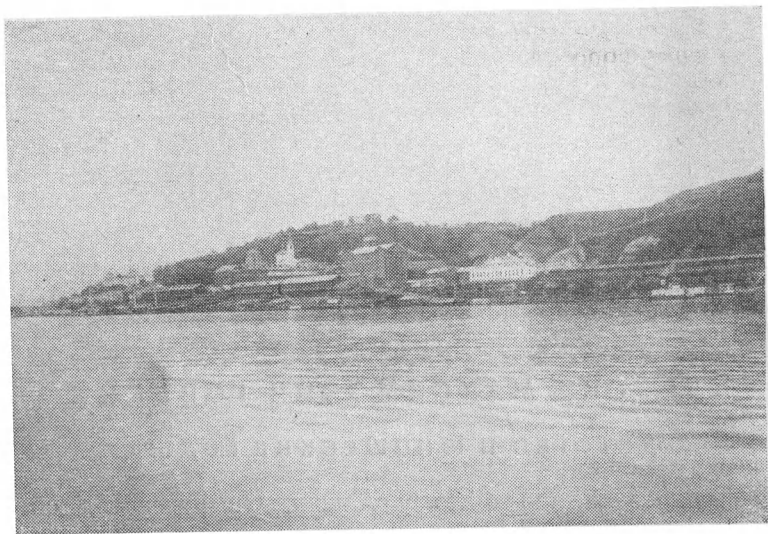
АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ

ДЕТСТВО И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Трудное дѣтство было у Алёши. Он рассказѣл об этом в автобиографических повестях «Дѣтство», «В людях», «Моё университетѣ». «Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом вѣрю, что всё было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть,—слишком обильна жестокостью тѣмная жизнь... Но правда выше жалости и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тѣсный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живёт — простой русский человек»,—писал он в 1913 году в повести «Дѣтство».

Алѣша Пѣшков родился 16 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Трёх лет Алѣша потерял отца, Максима Савватіевича Пѣшкова, столярѣ-краснодерѣвщика. Вместе с матерью он переехал к дѣду, Василю Васильевичу Каширину, владельцу красивой мастерской в Нижнем Новгороде.

Здесь, в домѣ дѣда, Алѣша начал понимать, как жизнь калѣчила людей. Дед, в прошлом бурлак, человек энергичный, умный, трудолюбивый, скопив состояние, стал жадным рабом своего имущества. Сыновья дѣда, Алѣшины дядья, постоянно ссорились, ожесточѣнно дрались из-за наслѣдства — мастерской дѣда, и даже дѣти принимали участіе в этой враждѣ. Трудно представить себѣ жестокость, с какой обращались эти люди с рабочими мастерской, как избивали своих собственных дѣтей.



Волга около Нижнего Новгорода. 1900 г.

Алёшу дед однажды засék до полусмёрти, а потóm учил его: «Ты знай, когда свой родной бьёт — ёто не обида, а наука... Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты ётого и в страóнном сне не увидишь». Ёто и было самое страóнное: люди привыкли к своей «тёмной жизни».

Очень рано возникло у Алёши отвращёние к «вóлчьей жизни в зависти и жадности».

Были вокруг и хороóшие люди, близкие Алёше: весёлый и сердёчный подмастёрье Цыганок — Золотые руки, товарищи Алёши — дружная ватага ребят и, наконец, самый большой его друг — бабушка Акулина Ивановна.

Бабушка была настоящей русóкой жёнщиной из народа. Она любила людей, любила жизнь, природу, умела радоваться. Одарённая натурой, она глубоко чувствовала народную поэзию, талантливо рассказывала сказки, знала множество народных песен, былин и сказаний, мастерский плелá кружева. И она не была равнодуóшной к людским страданиям.

Однажды, когда бабушка пошла за водой на площадь, она увидела, как пятеро мещан (мёлких торговцев

или ремёсленников) бьют мужика, повалив его на землю. Бабушка сбросила ведра с коромысла и пошла, размахивая им, на мещан, крикнув Алёше: «Беги прочь!» Алёша, которому в это время не было и восьми лет, стал швырять в мещан камнями, а бабушка «храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам». Вступились ещё какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть окровавленное, растоптанное лицо избитого.

Бабушка навсегда осталась для Алёши «другом самым близким сердцу». Её бескорыстная любовь к миру насытила его «крепкой силой для трудной жизни».

И всё же бабушкина правда не могла удовлетворить Алёшу. Наступило время, когда он почувствовал, что прекрасная душа бабушки «ослепленá сказками, не способна видеть, не может понять явлений горькой действительности», что его тревоги и волнения чужды ей. На его рассказы о безобразиях жизни, о муках людей она отвечала советом терпеть — а Алёша хотел бороться.

Мать Алёши не имела большого влияния на сына. Алёша любил её, но между ними не было той душевной близости, которая была между Алёшей и бабушкой. Мать часто уезжала из дома дёда, вышла второй раз замуж, вскоре тяжело заболела и умерла.

Первым литературным воспитанием будущего писателя были бабушкины песни и сказки. Бабушка раскрыла перед Алёшей богатство народного творчества. «В те годы, — писал Горький, — я был наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я и думал в формах её стихов».

В школе Алёша учился мало — немного больше одного учебного года. Он перешёл с похвальным листом в 3-й класс, и на этом его обучение закончилось — разорившийся дед отказался кормить Алёшу. Ещё будучи в школе, Алёша занимался «ветошничеством» — собирал для продажи кости, тряпки, гвозди по дворам и улицам.

После смерти матери — Алёше было тогда одиннадцать лет — дед сказал ему: «Ну, Лексёй, ты — не мёдаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...»

«И пошёл я в люди», — заканчивает Горький свою повесть «Детство».



Дом В. В. Каширина, деда Горького.

В повести «В людях» Горький рассказывает, как он работал «мальчиком» в магазине обуви, затем у своих родственников Сергеевых, где должен был обучаться чертёжному ремеслу, а на деле нянчил детей, выполнял работу судомойки, мальчика на посылках.

Алёша сбежал от чертёжника. Как-то раз он очутился на набережной Волги. «Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, простошно, — а я жил до этого дня, точно мышонок в погребке. И я решил, что не вернусь к хозяевам...» — вспоминает Горький.

Сначала он поступил посудником на пароход, потом занимался ловлей птиц на продажу, служил «мальчиком» в иконописной мастерской, работал по ремонту зданий Нижегородской ярмарки, был актёром на маленьких ролях в ярмарочном театре. Всюду Алёша видел тяжёлую жизнь народа. «...Мысли сгущались тёмною тучею, жить становилось душно и тяжело, а как жить иначе, куда идти?» — спрашивал он себя.

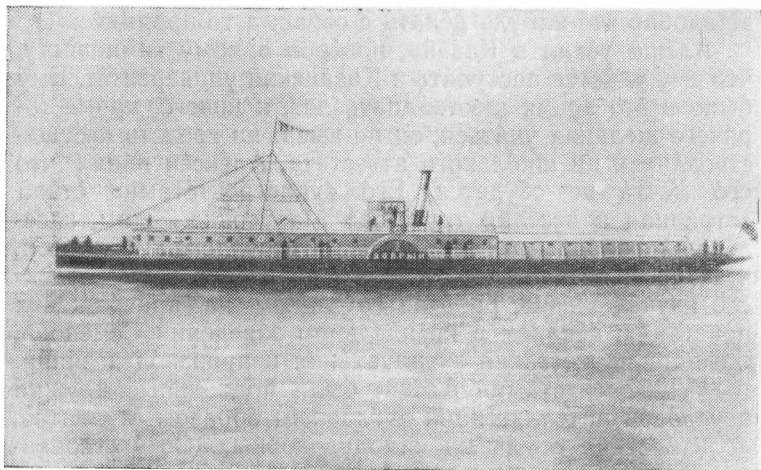
Алёша полюбил чтение. Злая старуха, мать хозяина-чертёжника, всячески мешала ему читать. Она загружала Алёшу работой, иногда даже ненужной; вечером, ло-

жа́сь спать и гася́ свет, измеря́ла лучи́нкой свечу́. Найденную Алёшину кни́гу она́ разорвала́ в клочья́. Алёше трудно́ было достава́ть кни́ги. И всё же он чита́л несмотря́ на тяжёлые униже́ния и оби́ды, кото́рые ему́ приходи́лось из-за э́того переноси́ть. Он чита́л в сара́е, когда́ уходил коло́ть дрова́; на холо́дном чердаке́, чита́л по ноча́м до утра́ при све́те лампа́дки и́ли самоде́льной свети́льни.

Впервые́ прочита́нные стихи́ Пу́шкина бы́ли собы́тием в его́ жи́зни. «Полнозвучные стро́ки стихо́в запомина́лись удиви́тельно легко́, украша́я пра́зднично всё, о чём говори́ли они́; э́то де́лало меня́ счастли́вым, жизнь мою́— лёгкой и приятно́й, стихи́ звуча́ли, как бла́говест но́вой жи́зни. Како́е э́то сча́стье — быть гра́мотным!»

На парохо́де, где Алёша рабо́тал посуди́ником, он прочёл по́вару Смýрому «Тара́са Бу́льбу» Н. В. Го́голя. Слу́шая ко́нec по́вести о ги́бели Тара́са, по́вар пла́кал.

В иконопи́сной масте́рской Алёша чита́л вслух за́нятым своёй рабо́той масте́рам-«богomáзам». Одна́жды он прочёл по́эму Ле́рмонтова «Де́мон». «Поэ́ма волну́вала меня́ мучи́тельно и сла́дко,— вспо́минает Го́рький,—у меня́ срыва́лся го́лос, я пло́хо ви́дел стро́ки стихо́в, слёзы наве́рты́вались на глаза́. Но ещё́ бо́лее волну́вало глу́хое,



Пароход «Добрый», на котором Го́рький рабо́тал посуди́ником.

осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне».

Книга казалась Алёше чудом. Однажды, пытаясь понять, почему его так взволновал прочитанный рассказ, он стал рассматривать на свет страницы книги, как будто это могло объяснить её загадочную силу.

Книга раскрывала перед Алёшей иную жизнь — жизнь больших чувств и желаний; от книг в его душе сложилась уверенность, что он не один на земле и не пропадёт.

Много лет спустя Горький писал: «Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь...»

Точно какие-то дивные птицы из сказок, книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своём стремлении к добру и красоте».

Ещё больше, чем книги, притягивали Алёшу люди. Алёша жадно присматривался к ним, чтобы понять, чем и как они живут.

Но ни книги, ни встречавшиеся на его пути люди не дали ответа на мучившие Алёшу вопросы, он не находил отклика на свои упрямые мечты о возможности другой жизни. «И всё казалось,— вспоминает Горький,— что вот я встречу какого-то простого, мудрого человека, который выведет меня на широкий, ясный путь». «Думалось: «Нужно что-нибудь делать с собой, а то пропаду...»

Алёша уехал в Казань, поверив одному гимназисту, что ему удастся поступить в Казанский университет. Ему было в это время шестнадцать лет, и ничего, кроме горячего желания учиться, он не имел: ни средств к существованию, ни школьного аттестата. Алексей понял, что его мечта не сбывается. Его «университетами» стала «странная и весёлая трущоба» Марусовка — дом, заселённый голодными студентами и городской беднотой, в котором он нашёл себе приют на первое время. Алексей изучал жизнь, работая грузчиком на приволжских пристанях, пекарем в крендельном заведении Семёнова, где царил жестокая эксплуатация и произвол хозяина.

«Университетами» Алёши были подпольные кружки передовой интеллигенции — главным образом студентов, политических ссыльных и поднадзорных. Сочувствовавший революционному движению А. С. Деренков открыл булочную, где происходили собрания и где хранились



Булочная А. С. Деренкова в Казани, где рабостал Горький.

запрещённые книги и рукописи. Доходы булочной шли на поддержку нуждающейся молодёжи. Алёша Пёшков поступил в эту булочную помощником пекаря. Он вошёл в новую для него среду, узнал людей, не похожих на тех, с которыми он общался до сих пор.

Эти люди жили в тревоге о будущем России, о счастье народа. Но что надо делать, чтобы облегчить тяжёлую жизнь народа, они не знали.

В 1888 году Алексéй уёхал в село Красновидово с бывшим политическим ссыльным А. М. Ромасём. Алексёю было в это время двадцать лет.

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Первый напечатанный рассказ

В Красновидове Алексéй прожил недолго — всего два-три месяца. Кулаки сожгли дом, в котором жили Ромась и Алексéй, им пришлось уёхать. Алексéй «пристроился» к артели рыболовов на берегах Каспия, потом работал на железной дороге. В 1889 году, двадцати одного года, он вернулся в Нижний, поступил письмоводителем к юристу. В том же году он был арестован и за-

ключён в тюрьму в связи с делом бывшего студента Сомова, которого обвинили в революционной пропаганде. Вскоре Алексея Максимовича освободили, но установили за ним особый надзор полиции.

В 1891 году Алексей Максимович отправился странствовать пешком, с котомкой за плечами,— он хотел «знать Россию». Он обошёл весь юг России, нанимаясь на работу то грузчиком, то батраком, то дорожным рабочим.

Он побывал на Украине, в Бессарабии, на Кубани, в Крыму, затем пошёл на Кавказ, в Грузию. В Тифлисе (Тбилиси) он поступил на работу в железнодорожные мастерские. Здесь Алексей снова сблизился с революционной молодёжью, участвовал в подпольных кружках.

Он поражал своих новых друзей талантом рассказчика.

Ему часто советовали писать. «Лет двадцати,— вспоминает Горький,— я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чём следует, и даже необходимо рассказать людям».

В Тифлисе произошло большое событие в жизни Алексея Максимовича: он написал рассказ о вольных цыганах — «Макар Чудра», и рассказ этот был напечатан в газете «Кавказ» в сентябре 1892 года за подписью «Максим Горький». Этот псевдоним он придумал тут же, в редакции.

С этого года начинается литературная деятельность Горького. Алёша Пёшков нашёл свой путь в жизни.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В Тифлисе Горький прожил около года. В конце 1892 года он возвратился в Нижний Новгород, работал письмоводителем, затем журналистом. Первое время он сильно нуждался.

В Нижнем Горький прожил — с перерывами — до 1904 года.

В первые же годы своей литературной деятельности Горький создаёт много художественных произведений, сотрудничает в газетах и журналах, где печатает также статьи.

Ужé пёрвые рассказы поставили Горького — само́учку, челове́ка «из низо́в» — в ряд вели́ких ру́сских пи́сателей.

В 1894 году́ вы́шел рассказ «Дед Архип и Лёнька». Герои́ его ста́рый дед Архип и ма́ленький Лёнька беспомощные и одино́кие. Дед не мо́жет рабóтать, потому́ что он стар и слаб, а внук ещё́ мал, и они́ живу́т, выпра́шивая пода́ние. Дед, озабóченный судьбо́й вну́ка, копи́т де́ньги, хитри́т, ворует, что́бы облегчи́ть Лёньке жизнь, когда́ ма́льчик оста́нется совсе́м оди́н. А в Лёньке зарожда́ется протэ́ст: он не хо́чет ни́щенствоватъ, не хо́чет, что́бы дед воровáл для него́. Ме́жду де́дом и вну́ком происхо́дитссора́, така́я же стра́шная, как ночна́я гро́за, сотряса́ющая степь и не́бо.

Отче́го поги́бли дед Архип и Лёнька? Ма́льчик прав, осужда́я де́да за воровство́. Но и дед Ари́п, похо́жий на ста́рое, иссо́хшее де́рево, вызы́вает сочу́вствие,— ведь не для себ́я он воровáл, ведь ина́че он не мог обеспе́чить бу́дущее Лёньке. Жизнь, постро́енная по во́лчьим зако́нам, где вла́ствует си́льный и богáтый, заста́вила де́да и вну́ка ни́щенствоватъ, толкну́ла де́да на воровство́ и привела́ их обо́их к ги́бели.

В рассказе́ «Челка́ш» (1895) Горький повеству́ет о «ма́ленькой дра́ме, разыгра́вшейся ме́жду двумя́ людьми́». Сно́ва столкну́лись два обездо́ленных: простоду́шный дереве́нский па́рень Гаври́ла и бося́к, ото́рванный от все́го родно́го, вор и гуля́ка Челка́ш. Образы́ сло́жные, в ка́ждом есть своё́ хоро́шее и плохóе. Гаври́ла лю́бит дере́вню, лю́бит зе́млю, но семья́ его́ разори́лась, он отпра́вляется в го́род на че́стный за́работок. Ему́ да́же в го́лову не пришлá бы мыслъ нару́шить зако́н, нача́ть воровáть. Одна́ко по во́ле Челкаша́ он уча́ствует в опа́сной и крупно́й кра́же. Вот он ви́дит де́ньги, па́чку пёстрых бума́жек, и жа́дность заслоня́ет в нём всё челове́ческое.

В столкнове́нии двух геро́ев нра́вственную побéду одержáл Челка́ш. Вор, риску́ющий ра́ди добы́чи своёй жи́знию, бро́сил э́ти де́ньги Гаври́ле: для Челкаша́ доро́же его́ челове́ческое досто́инство.

Челка́ш смел и горд, как хи́щная пти́ца, он лю́бит свою́ незави́симость, лю́бит мо́ре. Но поро́й приходи́т «прини́женная задумчи́вость», и Челка́ш сму́тно чу́вствует, что жизнь челове́ка, потеря́вшего связа́и с людьми́,

оторванного от труда, становится никому не нужной на земле.

В одной из своих статей Горький писал, что события рассказа он не выдумал: о них поведал ему такой же босняк, как Челкаш. «С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы,— улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу: «Так и пустил я его с деньгами: иди, болван, ешь кашу!»

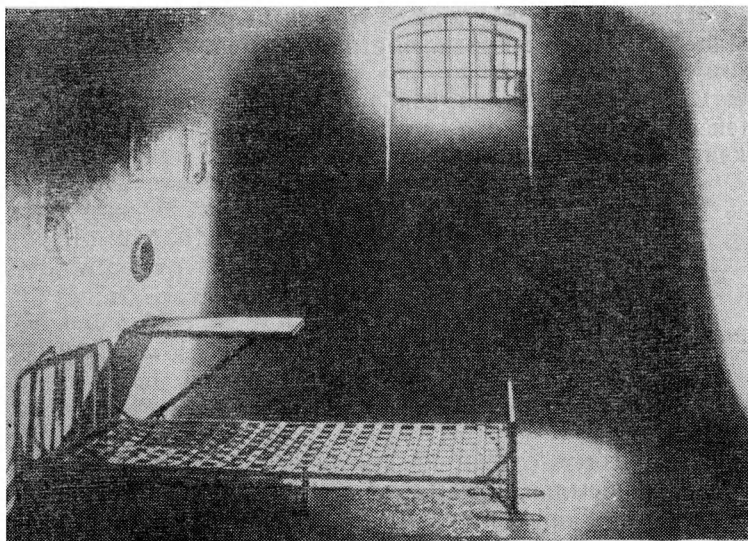
Он мне напомнил «благородных» героев Дюма. Из больницы мы вышли вместе, и, сидя со мною в люнетах¹ лагеря за городом, угощая меня дыней, он предложил: «Может, займёшься со мной хорошим делом? С тебя, думаю, толк будет». Я был очень польщён этим предложением, но в ту пору я уже знал, что есть дело более полезное, чем контрабанда и воровство».

Горький много видел за свою трудную молодость страданий и лишений; с детских лет жила в писателе «беспокойное внимание к людям», точно ему «содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой». И поэтому Горький утверждал, что надо ненавидеть бедствия людей: не жаловаться на неудачи и горести, не бесплодно сочувствовать другим, а бороться с причинами человеческих бед.

Рядом с реалистическими рассказами появляются романтические произведения о гордых, сильных, смелых людях, вступивших в борьбу с тёмными силами. Некоторые из них близки народному поэтическому творчеству; их сюжеты легендарны, сказочно-фантастичны, язык поэтический, красочный.

Данко, герой легенды, рассказанной старухой Изергиль, вывел людей своего племени из дремучего леса, куда их загнали враги. Труден был путь, болото на каждом шагу раскрывало свою жадную гнилую пасть, деревья вставали на пути могучей стеной. Внезапно грянула гроза. Люди устали, пали духом. Чтобы спасти их, Данко вырвал из груди своё пылающее сердце и понёс его, освещая путь. Люди смело бросились за Данко, лес расступился, «Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промывтого дождём».

¹ Люнет — в старину полевое укрепление.



Ка́мера в Петропа́вловской кре́пости, где был заключён Го́рький
в 1905 году́.

Борцо́м за свобо́ду был сме́лый Со́кол в «Пёсне о Со́коле», ещё одной легенде, кото́рую расска́зывает ста́рый пасти́х. Со́кол, сме́ртельно ра́ненный в бо́ю, просла́вляет борьбу́ за свобо́ду. Жи́тель ущелья, себялю́бный и ту́пой Уж, не понима́ет Со́кола. Уж ни к чему́ не стреми́тся, ниче́го не хо́чет, кро́ме со́бственного благополу́чия и поко́я. Сме́лый Со́кол погиба́ет. Самодово́льный Уж продо́лжает жить. Но морские во́лны гро́зно бы́ются о бе́рег, о́ни пою́т пёсню о том, что Со́кол бу́дет всегда́ го́рдый призы́вом к борьбе́ и зажжёт мно́го серде́ц жа́ждой свобо́ды и све́та.

«Пёсня о Со́коле» ста́ла одním из са́мых любíмых произведе́ний в революцио́нной среде́. Её зна́ли наизу́сть, отде́льные стро́ки «Пёсни» вклю́чали в подпо́льные листо́вки, посвящё́нные па́мяти поги́бших революционе́ров. В 1919 году́ на знаме́нах красноарме́йских часте́й, уходи́вших на фронт, бы́ло напи́сано: «Безу́мству хра́брых поём мы пёсню!»

Приближа́лась пе́рвая ру́сская револю́ция. В 1901 го́ду Го́рький приви́тствовал её «Пёсней о Буре́вёстнике».

«Песня о Буревестнике», этот гимн революции, облетела всю Россию. Горького стали называть «буревестником революции».

В апреле 1901 года, вскоре после выхода в свет «Буревестника», Горького посадили в тюрьму. Он пишет жене из тюрьмы шуточные стихи:

*Как медведь в железной клетке.
Дрыхнет в башне № 3-й
Государственный преступник
Алексей Максимов Пешков.
Спит — и видит: собрались
Триста семь клопов на сходку
И усердно рассуждают,
Как бы Пешкова сожрать.*

По-другому, совсем не шуточно, писал об этом Лев Толстой, посылая письма влиятельным людям, требуя освободить Горького: «Писатель Горький (настоящее имя Алексей Максимович Пешков)... находится теперь в ужасном положении: он вырван из семьи... и больной туберкулёзом лёгких посажен без суда в Нижегородский, ужасный по своим антигигиеническим условиям острог».

Когда же Горького, находившегося после тюремного заключения под домашним арестом, решили выслать из Нижнего Новгорода, революционно настроенная молодёжь организовала демонстрацию. Об этой демонстрации в том же году писал В. И. Ленин, возмущаясь преследованием писателя, «все оружие которого состояло в свободном слове».

В России в это время Горьким интересовались все — от простых людей до великих писателей.

Ещё в 90-е годы Горький сблизился со многими выдающимися людьми его времени. В Нижнем жил Владимир Галактионович Короленко, тогда уже известный писатель. Горький приносил ему свои первые произведения, Короленко давал советы, помогал опубликовать рассказы. В этот же период завязались его дружеские связи с Чеховым. Антон Павлович попросил прислать ему в Ялту книжки Горького. В ответ Горький

послал ему не только книжки, но и восторженное письмо: «Собственно говоря — я хотел бы объяснить Вам в искреннейшей горячей любви...», а заканчивал робко: «Может, захотите написать мне?» В 1900 году состоялась первая встреча Горького с Львом Николаевичем Толстым. «Провожая, он обнял меня, — вспоминал позже Горький, — поцеловал и сказал: «Вы — настоящий мужик! Вам трудно будет среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как вы чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут».

Много лет спустя Горький создал замечательные очерки о Короленко, Чехове, Толстом.

В 1902 году Горького избрали почётным академиком, но Николай II отменил это решение. Тогда, в знак протеста, два писателя отказались от звания академиков. Это были Короленко и Чехов.

Но со славой Горького было трудно бороться. С шумным успехом шли в Художественном театре его первые пьесы «Мещане» и «На дне». Имя Горького приобрело мировую известность.

ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Роман „Мать“

В 1904 году началась русско-японская война. Русская армия, плохо вооружённая и обученная, руководимая бездарными и продажными генералами, терпела поражение. Военные неудачи вскрывали перед народом гнилость царизма. Война ускорила революцию. Началом революционной бури явились события 9 (22) января 1905 года в Петербурге. Попы Гапону, который давно уже вёл подрывную деятельность среди петербургских рабочих, удалось уговорить их пойти в этот день к Зимнему дворцу, где находился тогда царь, чтобы подать просьбу о своих нуждах.

9 января, в воскресенье, которое получило название «Кровавого», безоружные рабочие с семьями направились к Зимнему дворцу. На улицах собралось свыше ста сорока тысяч человек. Царь приказал стрелять в безоружный народ; больше тысячи рабочих было убито, больше двух тысяч ранено.

Рабочие получили кровавый урок, они поняли, что добиться своих прав можно только борьбой. Уже к вечеру в Петербурге начали строить баррикады. По всей стране возникали забастовки.

Горький был очевидцем расстрела рабочих. В тот же день он написал обращение ко всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств, в котором обвинял царское правительство в умышленном убийстве множества русских граждан. Горький призывал «всех граждан России к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием».

В очерке «9-е января», написанном в 1906 году, Горький изобразил, как очевидец, события, разыгравшиеся на улицах Петербурга, и раскрыл значение этого страшного и значительного дня: народ понял, что добиваться облегчения своей участи надо не просьбами, а революционной борьбой.

За воззвание «Ко всем русским гражданам...» Горький был арестован и заключён в Петропавловскую крепость — тюрьму, куда помещали важных государственных преступников. Здесь когда-то томился Радищев, позже — декабристы, здесь же находился в заключении Чернышевский.

Арест Горького вызвал возмущение и протест в широких общественных кругах России и за границей. Правительство, обеспокоенное волнениями в стране, вынуждено было уступить и освободило Горького, выслав его из Петербурга.

Последние месяцы бурного 1905 года Горький находился в Москве. Революционное движение охватило в это время всю страну. В ноябре вернулся из-за границы в Россию Ленин и, скрываясь от жандармов и шпионов, руководил подготовкой вооружённого восстания. Вскоре Горький был вызван в Петербург для встречи с Лениным. 27 ноября 1905 года состоялась первая встреча Ленина и Горького. Горький рассказывал Ленину о настроениях московских рабочих, участвовал в заседании большевистского Центрального Комитета партии.

На квартире Горького в Москве изготавливались бомбы; здесь получали задания революционеры, стояла боевая дружина. Горький собрал большие денежные суммы для закупки оружия. Позднее, в очерке «Митя Павлов», Горький рассказывал, как сормовский рабочий Дмитрий

Павлов в дни московского восстания 1905 года привёз к нему на квартиру взрывчатые вещества для изготовления бомб и при этом едва не погиб.

В начале 1906 года Горький, по поручению большевиков, выехал за границу, чтобы рассказать о России, о том, как была подавлена первая русская революция, и чтобы организовать сбор денег для дальнейшей революционной борьбы.

Уезжая за границу, Горький писал своему маленькому сыну Максиму: «Милый ты мой сын! Я очень хочу видеть тебя, да вот — нельзя всё! Ты ещё не знаешь, что такое «долг перед родиной», — это, брат, не шутка. Спроси маму — что я делаю, и ты поймёшь, почему я не могу теперь видеть тебя, славный ты мой!»

Несколько месяцев Горький прожил в Западной Европе, а затем поехал в Америку. Он выступал на митингах в разных городах страны, где собирались тысячи слушателей, организовал комитет помощи русской революции.

Русское посольство, а потом и многие американские газеты, требовали, чтобы Горького выслали из Америки. «Меня отсюда выгонят с полицией, или я уеду принцем, то есть победителем — одно из двух, — пишет Горький в одном из писем. — А! Они думают Америка? Я им покажу, что такое русский человек, да ещё Горький».

Свои впечатления об Америке Горький передал в сатирических очерках. В «Городе Жёлтого Дьявола» он рисует картину капиталистического города Нью-Йорка. В этом городе всё подчинено власти «жёлтого дьявола» — золота. Горький описывает ужасающую нищету в квартале бедняков богатого города Нью-Йорка: «Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо её зелёное, бескровное, костлявое лицо. Её глаза, тупые от голода и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас нищеты Ист-Сайда — мрачнее всего, что я знаю.

В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте».

В Америке Горький написал пьесу «Враги», и здесь же был создан роман «Мать».

События в Сормове (под Нижним Новгородом) в 1902 году — первая демонстрация и судебный процесс над членами сормовской партийной организации — вызвали у Горького, по его словам, мысль написать книгу о рабочих. Тогда же он начал собирать материал и делать заметки.

Главные действующие лица — Пелагея Ниловна и её сын Павел Власов — сходны в своём облике и в своей биографии с участниками сормовской демонстрации А. К. Заломовой и её сыном П. А. Заломовым.

Горький создал свой роман, когда прошёл первый период революции — 1905 год. Опыт революции помог Горькому показать с такой полнотой и силой революционное движение его времени.

Эта книга рассказывает о том, как рабочий класс переходил от глухого недовольства своей жизнью к протесту, от смутного, стихийного протеста — к сознательной политической борьбе.

В этой борьбе человек находит смысл жизни, черпает силы, развивается в полноценную личность.

Безрадостной была жизнь Пелагеи Ниловны — страх составлял основное содержание её жизни, покорность была её долей. Шаг за шагом втягивается Ниловна в дело революционной борьбы, великая цель встаёт перед ней и пробуждает великую энергию. Ниловна любила и любит сына, но теперь она как мать любит всех угнетённых, она чувствует себя членом гигантской семьи — всего рабочего класса, чувствует себя нужной великому делу. И постепенно её покидает страх. Из несчастной, покорной женщины она становится бесстрашным борцом, живущим полной, осмысленной жизнью. «Миром идут дети! — говорит Пелагея Ниловна. — ...Идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастий всей земли ополчились, идут одолеть безобразное и — одолеют!..

...И когда я говорю про себя слово это — товарищи! — слышу сердцем — идут!»

Герои романа — каждый по-своему — проходят тот путь, который был пройден Ниловной, и становятся сознательными революционерами.

Павел Власов в ранней юности рос, как обычно росли все работавшие на заводе парни, но сближение с революционерами произвело переворот в его жизни. Всего

себя он отдал общему делу борьбы за свободу и привлёк на этот путь многих. Образ Данко встаёт в памяти, когда читаешь, как Павел шёл во главе первомайской демонстрации. Данко осветил путь людям своим пылающим сердцем — Павел поднял над толпой красное знамя революционной борьбы. «Павел махнул знаменем, оно распласталось в воздухе и поплыло вперёд, озарённое солнцем...» Это было знамя социал-демократической рабочей партии — «знамя разума, правды, свободы!» Царское правительство бросило Павла в тюрьму. Павел мог убежать оттуда, но он отказался: он считал, что для дела будет полезнее, если состоится суд, на котором он выступит с обличением самодержавия, с призывом к революционной борьбе.

Намерение Павла осуществилось. В речи на суде Павел призывает рабочий класс и всех трудящихся к беспощадной борьбе с хищными хозяевами жизни. «Мы, рабочие, — люди, трудом которых создаётся всё... — говорит он, обращаясь к судьям. — ...Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие!..» Речь Павла была напечатана в подпольной типографии, и мать перед своим арестом успела раздать, разбросать прокламации окружившей её толпе.

На революционный путь вступает крестьянин Павел Рыбин. Рабочий Николай Весовщиков под воздействием своих товарищей сближается с коллективом, втягивается в организованную борьбу.

В романе действуют и революционеры-интеллигенты. Борьба рабочего класса стала делом их жизни, они помогали рабочему классу — Павлу, матери и другим — осознать стоящие перед ним задачи.

Книга «Мать» открывала перед рабочим классом революционный путь к социализму. По воспоминаниям Горького, Ленин при встрече с ним в 1907 году сказал ему о книге «Мать», которую Владимир Ильич прочёл в рукописи: «...книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

Очень своевременная книга».

МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

В концé 1906 гóда Гóрький приéхал в Итáлию и поселился на óстрове Кáпри, где прóжил семь лет. Он не мог вернóться на рóдину — цáрское правítельство грози́ло выслать егó в Сиби́рь.

В 1907 гóду Гóрький прису́тствовал на V съезде Росси́йской социа́л-демократи́ческой рабóчей па́ртии в Лондо́не. Здесь он снóва встрéтился с Лéниным, а потóм Влади́мир Ильи́ч два́жды приезжа́л на Кáпри к нему́, а Гóрький приезжа́л к Лéнину в Па́риж.

Живя́ в Итáлии, Гóрький написа́л не́сколько крúпных произведе́ний: «Де́тство», «Городо́к Оку́ров», «Жизнь Матве́я Кожемя́кина», чита́л ле́кции для рабóчих-пропаганди́стов, ве́л большо́ую переписку. В э́ти гóды Гóрький переписывался с Лéниным — писа́л ему́ о своих мы́слях и настро́ениях, о вопро́сах парти́йной рабóты и борьб́ы, об организа́ции большеви́стских газéт и журна́лов, о своём творчестве.

В 1910—1913 гóдах Гóрький написа́л свои́ «Ска́зки об Итáлии». Эпи́графом к «Ска́зкам» он взял слова́: «Нет ска́зок лу́чше тех, кото́рые создаёт сама́ жизнь».

Большеви́стская газéта «Путь пра́вды» писа́ла о ска́зках Гóрького в 1914 гóду: «Гла́вный «геро́й» ска́зок тот, кто своёй богáтой жи́знью и все́ми свои́ми стремл́ениями окра́шивает жизнь ска́зочными лучáми, — наро́д».

Ска́зки говоря́т о высо́кой ра́дости труда́, преобра́зующего приро́ду, прославля́ют революциóнную де́ятельность («Молода́я Итáлия», «Стари́к Чéкко и его сыновья́»), они́ сла́вят любóвь к рóдине, утвержда́ют жизнь как революциóнную борьбу́, как творческий труд. Они́ жизнера́достны, сол́нечны.

Описа́ние яркой и ще́дрой приро́ды Итáлии гармони́чески слива́ется с изображе́нием прекра́сных люде́й. «Мо́ре блестит слóвно шёлк, гúсто расш́итый серебром, и, чуть касáясь на́бережной со́нными дви́жениями зелено́ватых тёплых волн, т́ихо поёт му́дную пёсню об исто́чнике жи́зни и сча́стья — сол́нце».

«Ска́зки» Гóрький напеча́тал в большеви́стских газéтах «Звезда́» и «Пра́вда». Лéнин в пи́сьмах к Гóрькому упомина́л «Ска́зки»: «Хорошо́ бы имéть *революциóнную* проклама́цию в типе Ска́зок «Звезды́». В друго́м пи́сьме Влади́мир Ильи́ч отмеча́л: «Великолéпными

«Скázками» Вы óчень и óчень помогáли «Звездé», и это меня рáдовало чрезвычайнó...»

В 1913 году Гóрький получил возможность вернóться в Россíю: судéбное дéло о нём было прекращéно. Гóрький был встрéчен прívётствиями и поздравлénиями от рабóчих, студénчества, передовóй интеллигénции, а охрáнка срáзу установила за ним наблюдénие. Гóрький поселился на дáче под Петербúргом, а затéм в Петербúрге.

В 1914—1916 годáх Гóрький рабóтал над сéрией рассказов «По Русí», написал пóведь «В людях», ряд статéй. Он вёл большóую редакциóнную и издáтельскую рабóту: редактировал организованный им журнáл «Лéтопись», издáл ряд сбóрников национальных литератур— армянской, латышской, финской. Он рабóтал с писателями из нарóда, под его редáкцией вышел сбóрник произведénий пролетáрских писателей.

В 1914 году разразилась пёрвая мировáя войнá — несправедливая, грабительская войнá буржуázных правительств за колóнии и рынки.

Гóрький вýступил прóтив éтой войны, прóтив призывов правительства и послушных ему газéт и журнáлов проливать свою кровь за «честь» Россíи,— Гóрький говорил о неисчислимом вреде, котóрый приносит éта войнá нарóду.

ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГОРЬКОГО

Великая Октяб́рская револю́ция впервые в истории поставила у вла́сти тех, кто тру́дится: рабóчий класс и крестьян, писателей и учёных, котóрые были на стороне нарóда. Гóрького захватили зада́чи строительства но́вого ми́ра. Он разверну́л о́громную рабóту по издáнию книг и журнáлов для нарóда, для таких же обездо́ленных паренько́в, ка́ким был сам ко́гда-то. Все долж́ны получи́ть кни́гу, все долж́ны стать гра́мотными, овладéть знáниями, нако́пленными челове́чеством.

Гóрький чита́ет лéкции по истории ку́льтуры рабóчим, матро́сам, красноармéйцам. Он руководи́т издáтельством «Всеми́рная литерату́ра», задúмывает наро́дную сéрию

произведений мировой литературы XVIII и XIX веков, увлекает писателей, переводчиков, учёных своей мечтой нести культуру в массы, в самые глухие уголки страны.

Это были 1918, 1919 годы, ещё шла война с внутренними и внешними врагами, в Петрограде, где жил Горький, — голод, болезни, отчаянная нужда. Для издания задуманных книг не хватало бумаги, для работы учёные и писатели нуждались не только в жилищных условиях, но часто и в хлебе. По поручению Ленина Горький ведёт большую работу в КУБУ — Комиссии по улучшению быта учёных. «Я наблюдал, с каким огромным героизмом, с каким стойческим (то есть самоотверженным. — В. Л.) мужеством творцы русской науки переживали мучительные дни голода и холода, видел, как они работали, и видел, как умирали... — писал Горький. — Я думаю, что русскими учёными, их жизнью и работой в годы интервенции и блокады дан миру великопечальный урок стоицизма...»

Да и сам Горький, как свидетельствуют его современники, в те дни тоже далеко не всегда мог сказать, что он действительно сыт. «Живу я, как всегда, в тревогах и волнениях... — кратко сообщал он в одном из писем, — приобрёл себе цынгун, от которой успешно лечусь».

В эти годы он пишет литературные портреты русских писателей — знаменитые «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Но основное время и силы уходят не на собственное творчество. «Не такое теперь время, чтобы этим заниматься», — говорил Горький, одетый в солдатскую гимнастёрку и военные сапоги.

Тяжёлая болезнь — туберкулёз лёгких — заставила Горького в 1921 году уехать лечиться. Сначала он жил в Германии, затем — с 1924 по 1928 год — в Италии, в Сорренто. За границей Горький жил напряжённой творческой жизнью, здесь он создал давно задуманный большой роман «Дело Артамоновых» и написал третью часть автобиографии — повесть «Мой университет».

Тысячи нитей связывали Горького с Советским Союзом. Его художественные произведения и статьи, старые и новые, печатались на родине. К нему обращались за советом и помощью самые разные люди. Только от писателей Горький получил больше 13 000 писем. Горький порой жаловался, что у него не хватает времени читать

кни́ги и само́му писа́ть кни́ги и всё-таки писа́л отве́ты на пи́сьма, редакти́ровал ру́кописи нерéдко но́чами. Мнóгие писа́тели — Л. М. Леóнов, В. П. Ката́ев,— то́гда ещё со-всём молодёе, приезжа́ли к нему́ в Соррeнто.

В 1924 году́, потрясённый сме́ртью Влади́мира Ильича́, Го́рький написа́л о́черк «В. И. Ле́нин». «Писа́л и — обли-ва́лся слеза́ми,— вспомина́л Го́рький.— Так я не горева́л да́же о Толсто́м. И сейча́с вот — пишу́, а рука́ дрожи́т. Всех потрясла́ э́та предше́временная сме́рть. Всех».

В э́том о́черке Го́рький расска́зывает о своих встре́чах с Влади́миром Ильичём.

Он опи́сывает Ле́нина на партíйном съезде́ в Ло́ндоне в 1907 году́, где происходи́ла борьба́ ме́жду большевика́ми и меньшевика́ми. «Сли́тность, зако́нченность, прямо́та и си́ла его́ ре́чи, весь он на ка́федре — то́чно произведе́ние класси́ческого иску́ства: всё есть, и ниче́го лиш-него...»

Зате́м в гостя́х у Го́рького на о́строве Ка́при, где Ильи́ч с аза́ртом охóтника учи́тся уди́ть ры́бу по спо́собу италя́нских рыбако́в. Смеётся Ле́нин, оглуши́тельно хо-хо́чут рыбаки́. Когда́ Ле́нин уеха́л, рыбаки́ всё спра́шивали у Го́рького: «Ца́рь не схва́тит его́, нет?»

Влади́мир Ильи́ч, вспомина́ет Го́рький, облада́л необыкнове́нной спосо́бностью убежда́ть и привлека́ть к себе́ симпа́тии люде́й труда́. «Ле́нин — вождь и това́рищ наш»,— говори́ли о нём рабо́чие. А когда́ Го́рький спроси́л у со́рмовского рабо́чего Дми́трия Па́влова, кака́я, на его́ взгляд, са́мая отличи́тельная черта́ Ле́нина, то получи́л отве́т:

«Простота́. Прост, как пра́вда».

* * *

В 1928 году́ Го́рький сно́ва верну́лся в Советский Сою́з. Ро́дина с большо́м торже́ством встре́тила своего́ вели́кого писа́теля. На вокза́лах Москвы́, Ленингра́да и други́х городо́в его́ приве́тствовали ты́сячи люде́й.

Сра́зу же, верну́вшись в СССР, Го́рький, больно́й и уже́ немолодо́й, отпра́вляется в путеше́ствие по странé. Он побы́вал на Укра́ине, в Кры́му, на Кавка́зе, в По-во́лжье, в Соловкáх, в Му́рманске. Он ра́дуется объеди́нению всех наро́дов, всех ра́нее отста́лых пле́мен в еди́ную семью́. «Башки́рия и Узбекиста́н,— пи́шет он,— глу-

хая тайга Сибири и Карелия, Молдавия и Чувашия — все в один голос радостно и гордо заявляют: воскресли к новой жизни...»

Снова, не жалея времени и сил, Горький принимается за организацию издательств и журналов, встречается с писателями, правит рукописи молодых. «Нашей стране нужны тысячи писателей, и вот они идут неуклюже, крикливо, но — смело, — говорит Горький в одном из писем, — у многих шапки набекрень, мозги — тоже, но — это пройдет».

Горький очень хорошо помнил, чего стоила ему его «учеба», и было бы странно, повторял он не раз, если бы он не пытался облегчить молодым людям трудный путь в литературу. Очень много сделал Горький для создания Союза писателей.

Последним крупным произведением Горького был роман «Жизнь Клима Самгина». Он начал работать над книгой ещё в Италии, в 1925 году, знал, что будет писать её долго, сначала думал — года два, но книга разрасталась — в ней сейчас больше 2000 страниц, и писал её Горький в течение одиннадцати лет, до конца своих дней, так и не успев закончить.

Роман этот имеет два заглавия: «Жизнь Клима Самгина» и «Сорок лет». Горький показывает, как жили, как думали, что делали русские люди с 80-х годов XIX века по 1918 год. «Роман сводит меня с ума, работаю по 10 часов в день... — писал Горький в 1926 году. — И я должен изобразить все классы, «течения», «направления», всю адскую суматоху конца века и бури начала XX-го! Если всё это мне не удастся — проткну себе пером глаза».

Клим Самгин — это человек «пустой души», мещанин, который любит рядиться в красивые фразы — подчас и революционные, если этого требует обстановка, — но который по сути дела лишь ищет для себя удобного места в жизни. Такие люди в решающие моменты истории предавали дело революции. Кончаться роман должен был гибелью Клима Самгина, которого сметает восставший в 1917 году народ: «Уйди с дороги, таракан!» — записал Горький в черновых набросках.

Горький всю жизнь ненавидел мещан, людей с пустой душой, равнодушных ко всему, кроме собственного бла-

гополучия. Он считал, что литература должна создать образ мещанина такой же огромной обобщающей силы, как Фгауст или Гамлет.

В 30-е годы Горький много работает над пьесами «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», которые идут и сейчас на многих сценах наших театров.

О жизни Советского Союза Горький написал очерки, статьи, рассказы. Изумительные перемены произошли в стране, и великий писатель стремился отразить их в своём творчестве. Он задумал написать книгу о новой России. Очерки «По Союзу Советов» и «На краю земли» явились началом осуществления этого замысла. Горький рассказал в них о своём посещении Баку, Днепроострoя, Мурманска и многих других городов Советского Союза.

В «Рассказах о героях», которые являются как бы продолжением этих очерков, Горький изобразил самых обыкновенных людей: красноармейцев, колхозниц, колхозников. Но их жизнь полна неутомимой энергии, рождённой большой целью.

Задолго до второй мировой войны Горький предупреждал о том, что фашизм представляет опасность для человечества.

Горький мужественно и страстно боролся за мир во всём мире. Он поддерживал словом и делом зарождавшееся международное движение в защиту мира, принимал участие в организации антивоенных и антифашистских конгрессов в Европе и Америке.

Гневно бичевал Горький звериную, кровожадную программу фашизма, его ненависть к людям, его отрицание культуры — всего ценного, что создано людьми на протяжении веков.

Сознательной, активной ненависти к подлому врагу требовал Горький за десять лет до начала Великой Отечественной войны, он предсказывал народный характер будущей войны и заявлял: если вспыхнет война против Советского Союза, он пойдёт рядовым бойцом в армию, пойдёт потому, что Красная Армия — первая в истории человечества социалистическая армия, которая борется за справедливость.

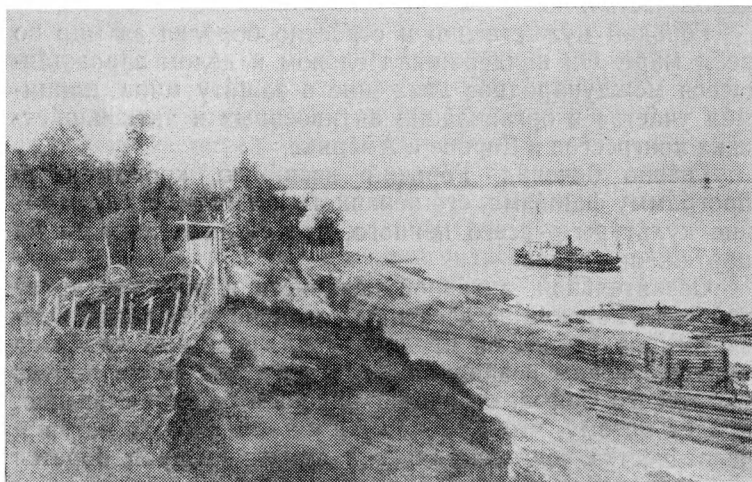
ГОРЬКИЙ И ДЕТИ

Горький очень любил детей, молодёжь. «Будущее принадлежит детям...» — говорил он.

В рассказах и повестях Горького много прекрасных образов детей: маленький нищий Лёнька, мечтавший о невиданных, чудесных городах; мужественный мальчик-акробат (рассказ «Дети»); шустрый озорник Пёпе; мальчики Овсянниковы в «Детстве», напоминавшие «покорных гусей»; дружная ватага ребят в повести «В людях» и ещё много других. Самый замечательный образ — Алёша Пёшков в «Детстве».

В своих статьях дореволюционного времени Горький писал о тяжёлых условиях труда «бесплатных и беззащитных» мальчиков-учеников, о зверствах их хозяев, о детях, которые лишены возможности учиться.

В 1900 и 1901 годах Горький организовал в Нижнем Новгороде большую ёлку для детей бедняков: на празднике было первый раз пятьсот, а второй раз — больше тысячи ребят. Об одной из этих ёлок Горький написал в газете. Он рассказал о первом посетителе ёлки —



Волга 1894 г.

Андрюшке, шести лет, в полуразвалившихся маминых валенках, болтающихся на тонких, кривых ногах, и с глазами, которые смотрели так, как будто Андрюшка уже знал всё и давно ничему не удивлялся.

Собрались маленькие гости — истощённые, с запахом плесени подвалов, немного угрюмые, в давно не мытом белье. Горький писал о суровом будущем, которое ждёт этих ребят.

После Великой Октябрьской социалистической революции Горький уделял ещё больше внимания детям. «Никогда ещё дети не были так дороги, как теперь, — писал он, — когда перед ними — дело мировой важности, дело, удивительно успешно начатое их матерями и отцами, дело, которое постепенно будит среди трудящихся всего мира разум и волю к новой жизни».

«Мы должны всю землю нашу обработать как сад, осушить болота, снабдить водой безводные пустыни, канализировать и углубить реки, построить миллионы километров дорог, вычистить огромные наши леса», — писал Горький школьникам Иркутска.

И прежде всего Горький в письмах и статьях зовёт детей «вооружаться знаниями», «книга — чудо, любите книгу», — всё время повторял Горький.

Когда в 1933 году решили создать специальное издательство книг для детей — Детгиз — Горький через «Пионерскую правду» спрашивает самих ребят, какие книги им нравятся, о чём они хотели бы читать, какие вопросы их особенно интересуют. В ответ были получены груды писем — больше 2000, и Горький вместе с Маршаком самым внимательным образом изучали их, многим из ребят Алексей Максимович послал в ответ целые библиотечки, со многими вёл переписку.

«Среди замечательных писателей нашего времени едва ли найдётся во всём мире ещё один человек, который бы сделал для детей так много, как Горький», — говорил Самуил Яковлевич Маршак.

* * *

Воздействие Горького — великого художника — огромно. Царское правительство преследовало Горького, сажало в тюрьму, запрещало издание некоторых произведений, другие разрешало издавать только с искажениями. Но

кни́ги Го́рького раскупáлись нарасхвáт, запрещённые произведения распространялись в списках.

У нас Го́рького чита́ют и де́ти и взро́слые, его́ творчество и его́ жизнь изуча́ют шко́льники, писа́тели, учёные.

Су́щность жи́зни Го́рький ви́дит в де́йствии — труде́, борьбе́, по́двиге. Всё его́ творчество проникнуто ве́рой в челове́ка: «До поры́, пока́ мы не нау́чимся любова́ться челове́ком, как са́мым краси́вым и чуде́сным явлéнием на на́шей планéте, до той поры́ мы не освободи́мся от ме́рзости и лжи на́шей жи́зни. С э́тим убежде́нием я вошёл в мир, с ним уйду́ из него́ и, уходя́, бу́ду непоколеби́мо ве́рить, что когда́-то признаёт: свята́я святы́х — чело́век».

В. Ла́нина

ДЕД АРХИП И ЛЁНЬКА

Ожидая паром¹, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Лёнька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли их отрёпанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими ксмами, один — побольше, другой — поменьше; утомлённые, загорелые и пыльные физиономии² были совсем под цвет бурым лохмότηям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперёк узкой полоски песка — он жёлтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Лёнька лежал калачиком³ сбоку дёда. Лёнька был маленький, хрупкий, в лохмότηях он казался корявым сучком, отломленным от дёда — старого, иссохшего дерева, принесённого и выброшенного сюда, на песок, волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймлённый редкими кустами ивняка; из кустов высывался

¹ Паром — большой плот или судно с плоским дном для переправы через реку или озеро людей и грузов; передвигается посредством каната (верёвки), натянутого от одного берега до другого.

² Физиономия — лицо.

³ Лежал калачиком — подтянув ноги к животу, свернувшись.

чёрный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспалённые глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещрённое морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удручив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слёз.

Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков... Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожжённая солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видное старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нём вырисовывались три стройные фигуры далёких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг всё скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева...¹

Эта пелена, струйстая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрёт, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и ещё его сильно смущала мысль о внуке... Куда денется Лёнька?..

Он ставил перед собой этот вопрос по несколько раз в день, и всегда при этом в нём что-то сжималось, холодело, и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию...

Но — далеко идти в Россию... Всё равно не дойдёшь, умрёшь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подаёт

¹ Марево — туман, дымка, застилающие воздух.

милостыню щедро; нарód всё зажиточный, хотя тяжёлый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...

Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся ещё больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

— Идёт? — спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

— Нет ещё, не идёт. Стоит. Чего ему здесь? Не зовёт никто, ну и стоит он... — медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. — Дремал ты?

Лёнька неопределённо покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

— Кабы я плавать умёл, купаться бы стал, — пристально глядя на реку, заявил Лёнька. — Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится...

И Лёнька недовольно отвернулся от воды.

— А вот что, — заговорил дед, подумав, — давай распояшемся¹, пояскі-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты и лезь, купайся...

— Ну-у!.. — резонно протянул Лёнька. — Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утнём оба.

— А ведь верно! Стащит. Ишь, как прёт... Чай², весной-то разольётся — ух ты!.. И покосу тут — беда! Без краю покосу!

Лёньке не хотелось говорить, и он оставил слова дёда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьёзным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чём-то думал, шуря глаза.

— Ведь вот... — тихо и монотонно заговорил Лёнька, стряхивая с рук пыль. — Земля эта теперь... взял я её в руки, растёр, и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно...

— Ну, так что ж? — спросил Архип и закашлялся, поглядывая сквозь выступившие на глазах слёзы в боль-

¹ Распоясаться — здесь: снять с себя пояс.

² Чай — здесь: пожалуй, вероятно (от слова «чаять» — ожидать чего-нибудь, надеяться на что-либо).

шие, сѹхо блестящие глаза внѹка.— Ты к чему́ это? — доба́вил он, когда́ прока́шлялся.

— Так...— качну́л голово́й Лёнька.— К тому́, что, мол, вся-то она́ эвона кака́я!..¹ — Он махну́л руко́й за́ реку.— И всего́ на ней понастро́ено... Ско́лько мы с тобо́й городо́в прошли́! Страсть! А люде́й везде́ ско́лько!

И, не уме́я улови́ть свою́ мысль, Лёнька сно́ва молча задума́лся, посма́тривая вокру́г себя́.

Дед то́же помолча́л немно́го и пото́м, плóтно подвину́вшись к внѹку, ла́скowo загово́рил:

— Умница ты моя́! Пра́вильно сказа́л ты—пыль всё... и городá, и лю́ди, и мы с тобо́й — пыль одна́. Эх ты, Лёнька, Лёнька!.. кабы́ гра́моту тебе́!.. далеко́ бы ты поше́л. И что с тобо́й бу́дет?..

Дед прижа́л го́лову внѹка к себе́ и поцелова́л её.

— Погоди́...— высвобожда́я свои́ лы́няные во́лосы из коря́вых, дрожа́щих па́льцев де́да, немно́го оживля́ясь, крикну́л Лёнька.— Как ты гово́ришь? Пыль? Городá и всё?

— А так уж устро́ено бо́гом, го́лубь. Всё — земля́, а сама́ земля́ — пыль. И всё умира́ет на ней... Вот как! И до́лжен пото́му челове́к жить в труде́ и смире́нии. Вот и я то́же умру́ ско́ро...— перескочи́л дед и тоскли́во доба́вил: — Куда́ ты тогда́ пойдёшь без меня́-то?

Лёнька ча́сто слы́шал от де́да э́тот вопро́с, ему́ уже́ надо́ело рассу́ждать о сме́рти, он молча́ отверну́лся в сто́рону, сорва́л бы́линку, положи́л её в рот и стал ме́дленно жева́ть.

Но у де́да э́то бы́ло больно́е ме́сто.

— Что ж ты молчи́шь? Как, мол, ты без меня́-то бу́дешь? — ти́хо спроси́л он, наклоня́ясь к внѹку и сно́ва ка́шляя.

— Говори́л уж...— рассу́енно и недово́льно произне́с Лёнька, йскоса взгля́дывая на де́да.

Ему́ не нра́вились э́ти разгово́ры ещё́ и пото́му, что зачасту́ю они́ конча́лисьссора́ю. Дед до́лго говори́л о бли́зости своёй сме́рти. Лёнька снача́ла слѹшал его́ сосредото́ченно, пуга́лся представля́вшейся ему́ новизны́ положёния, пла́кал, но постепённо утомля́лся — и не слѹшал де́да, отдава́ясь своим мы́слям, а дед, замеча́я э́то, серди́лся и жа́ловался, что Лёнька не лю́бит де́да,

¹ Эвона кака́я! — Вон кака́я!



— Лёнька!.. Погляді-ка!.. — вдруг всхліпнул дед...

не цѣнит его забот, и, наконец, упрекал Лёньку в желаніи скорѣйшаго наступленія его, дѣдовой, смерти.

— Что — говорил? Глупенький ты ещё, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил¹ ты, негодный к работѣ. Куда ж ты пойдёшь? Дѣбрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их — это так. А милостыню-то собирать не сладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят... Рази² ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Дѣсять лет по миру хожу — знаю. Кусок-то хлѣба в тыщу рублѣй цѣнят. Подает, да и думает, что уж ему сейчас же райскіе дѣри отворят! Ты думаешь, подають зачѣм больше? Чтѣбы совѣсть свою успокоить; вот зачѣм, друг, а не из жалости! Ткнѣт тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек — зверь. И никогда он не жалѣет голоднаго. Враги друг другу — сытый и голодный, вѣки вѣчныя они сучком в глазу друг у друга будут³. Потому и невозможно им жалѣть и понимать друг друга...

Дѣдушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческіе, тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на тѣмном лицѣ выступили рѣзче.

Лёнька не любил его таким и немного боялся чегѣ-то.

— Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь дѣлать с миром? Ты — хилый ребѣночек, а мир-то — зверь. И проглѣтит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умерѣть, а ты чтоб остался... На когѣ?.. Господи!.. за что ты не любил раба твоегѣ?! Жить мне невмочь⁴ и умирать мне нельзя, потому — дитѣ,— оберѣчь должен. Пѣстовал⁵ семь годѣв... на руках моих... старых... Господи, помоги мне!..

¹ Хил (хилый) — слаб.

² Рази — разве, неужели.

³ Они сучком в глазу друг у друга будут — они будут так же раздражать друг друга, как раздражает соринка, попавшая в глаз.

⁴ Невмочь — не по силам, тяжело.

⁵ Пѣствовать — воспитывать, выращивать

Дёдушка сел и заплакал, уткнув голову в колёни дрожащих ног.

Рекá торопливо катилась вдаль, звúчно плескалась о бёрег, тóчно желáя заглушить этим плёском рыдания старика. Ярко улыбалось безоблачное нёбо, изливая жгучий зной, спокойно слúшая мятежный шум мутных волн.

— Бúдет, не плачь, дёдушка,— глядя в стóрону, сурóвым тóном проговорил Лёнька и, повернуv к деду лицу, добáвил: — Говорили обо всём уж ведь. Не пропадú. Поступлю в трактир куда ни то...

— Забьют...— сквозь слёзы простонал дед.

— Мóжет, и не забьют. А вот как не забьют,— с нёкоторым задóром вскричал Лёнька,— тогда что? Не дамся каждому!..

Но тут Лёнька вдруг почему-то осёкса¹ и, помолчáв, тихóнько сказа́л:

— А то в монастырь уйдú...

— Кабы в монастырь! — вздохну́л дед, оживляясь, и снóва нáчал кóрчиться в припадке удúшливого кáшля.

Над их головами раздался крик и скрип колёс...

— Парó-о-ом!.. Парó-о — гей! — сотряса́ла вóздух чья-то могúчая глóтка.

Онi вскочили нá ноги, подбирая котóмки и пáлки.

Пронзительно скрипя, на песок въехала арба². В ней стоял казák и, закинув гóлову в мохнатой, надвинúтой на однó úхо ша́пке, приготовлялся гикнуть³, вбирая в себя открытым ртом вóздух, отчего его ширóкая, выпяченная вперёд грудь выпячивалась ещё бóлее. Бёлые зúбы ярко сверкали в шёлковой ра́ме чёрной бороды, начинавшейся от глаз, нáлитых крóвью. Из-под расстёгнутой рубáхи и чохи⁴, небрежно накинúтой на плéчи, виднёлось волосáтое, загорёлое на солнце тéло. И от всей его фигúры, прóчной и большо́й, как и от лóшади, мясистой, пёгой и тóже урóдливо большо́й, от колёс арбы, высóких, стянутых тóлстыми ши́нами,— разило сы́тостью, силой, здорóвьем.

— Гей!.. Гей!

¹ Осéчься — внезапно оборвать речь, запnúться на слóве.

² Арба — длинная четырёхколёсная или двухколёсная телега (повózка).

³ Гикнуть — резко, грóмко крикнуть.

⁴ Чоха — вёрхняя одéжда с ширóкими откидными рука́ми.

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

— Здравствуйте! — гўлко отрубил приѣхавший и, посмотрѣв на тот бѣрег, где из кустов выползал мѣдленно и неуклюже чѣрный паром, стал пристально оглядывать нищих.— Из Россіи?

— Из неё, милостивец! — с поклоном отвѣтил Архип.

— Гóлодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на зѣмлю и стал что-то подтягивать в упряжке.

— И тараканы с гóлода мрут.

— Хо-хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не остáлось, всё поѣли? Лóвко едите. А вот работаете, должно, погáно. Потому, как хорошо работать станешь, не бóдет гóлоду.

— Тут, кормилец, глáвная причина — земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

— Земля? — тряхнул казák головой.— Земля всегда должнá родить, на то она и данá человеку. Говори: не земля, а рúки. Рúки плóхи. От хороших рук кáмень не отобьётся, родит.

Подъѣхал паром.

Двое здоровых, краснорóжих казáков, упираясь толстыми ногáми в пол парома, с трѣском ткнули его о бѣрег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стáли отдуваться.

— Жáрко? — оскáлил зúбы приѣхавший, вводя на паром свою лóшадь и дотрагиваясь рукой до шапки.

— Эгé! — отвѣтил оди́н из паромщиков, глубоко засунув рúки в карма́ны шарова́р, и, подойдя к арбе, заглянул в неё и повёл носом, си́льно втяну́в в себя во́здух.

Друго́й сел на пол и, кряхтя, стал снимáть сапо́г.

Дед и Лёнька вошли на паром и прислонились к бóрту, посмáтривая на казáков.

— Ну, едем! — скомáндовал хозяин арбы.

— А ты не везёшь ничего́ с собо́й попить? — спросил у него́ тот, что осмáтривал арбу́. Его́ товарищ снял сапо́г и, прищу́рив глаз, смотре́л в голени́ще.

— Ничего́. А что? рáзве в Кубáни воды́ ма́ло?

— Воды́!.. я не о водѣ.

— А о горилке? ¹ Не везу́ горилки.

¹ Горилка (украинское) — водка.

— Как же это ты не везёшь? — задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парёма.

— Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

— А ты, дед, что же не поможешь? — обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

— Где мне, родной! — жалобным тоном и качая головой, пропел тот.

— И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грустно опустился на колени и лёг на палубе парёма.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бок, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперёд.

Глядя на воду, Лёнька чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомлённые быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шёпот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремлотной истоме¹, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пенек на берегу.

— Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станции². И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом³, дед, кряхтя, влез в арбу. Лёнька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой чёрной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Кажалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колёса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, тряся головой, не переставая кашлял, а Лёнька думал о том,

¹ Истóма — чувство приятной слабости, томления.

² Стáница — здесь: селение, посёлок.

³ Нарочíто гнусáвым гóлосом — голосом, которому дед нарочно (умышленно) придавал неприятный, носовой звук.

что вот сейчас приедут они в станцию и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христэ...» Снова станционные мальчики будут задирать его, а бабы надоедать расспросами о России... Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было... Говорит, что в России на улицах мрёт народ, да так и валяется и убраться некому, потому что все люди обалдели¹ от голода... Ничего этого они с дедом не видели нигде. А нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда её, милостыню, здесь денешь? Дома — там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

— Сбирать пойдёте? — спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

— Уж конечно, почтённый! — со вздохом ответил ему дед Архип.

— Встань на ноги, дед, покажу, где живу, — ночевать ко мне придёте.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

— Эх ты, старый!.. — буркнул казак, соболезнуя². — Ну, всё равно, не гляди; придёт поря на ночлэг идти, спроси Чёрного, Андрея Чёрного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополёй и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду — направо и налево — к небу вздымались такие же кучки. Их зелёная листва была одета серой пылью, а кора толстых, прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед ними между двух плетней тянулся узкий проулок, они направились в этот проулок развальной походкой много ходивших пешком людей.

— Ну, как мы, Лёня, пойдём — вместе или порознь?³ — спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил

¹ Обалдеть — одуреть, ослабнуть.

² Соболезновать — сочувствовать.

³ Порознь — каждый отдельно.

вил: — Вмѣстѣ бы лучшѣ — малѣ больно тебѣ подаёт. Не умѣешь ты просить-то...

— А куда много-то надо? Всѣ равно ведь не поедаетъ... — хмуро отвѣтил Лѣнька, оглядываясь вokrуг.

— Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернѣтся человек, да и купит? Вот те и куда!.. Дѣньги даст. А дѣньги — дѣло большѣе; ты с ними небось не пропадёшь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по головѣ.

— Ты знаешь ли, сколько я за путину-то ¹ скопил? А?

— А сколько? — равнодушно спросил Лѣнька.

— Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!

Но на Лѣньку не произвели впечатлѣния эта сумма и ликующий тон дѣда.

— Эх ты, малыш, малыш! — вздохнул дед. — Так порознь, что ли, идѣм?

— Порознь...

— Ну... К церкви приходи, буде ².

— Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Лѣнька пошел дальше. Сдѣлав шагѣ десять, он услышал дребезжащий возглас: «Благодѣтели и кормильцы!..» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гуслим ³ провел ладонью с самой густой до тонкой струны. Лѣнька вздрогнул и прибавил шаг. Всегда, когда слышал он просьбы дѣда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда дѣду отказывали, он даже робѣл, ожидая, что вот сейчас разревѣтся дѣдушка.

До слуха его еще долетали дрожащие, жалкие ноты дѣдова голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над станицей. Кругом было все так тихо, точно ночью. Лѣнька подошел к плетню и сел в тѣни от свѣсившихся через него на улицу ветвей вишни. Гдѣ-то гулко жужжала пчела...

Сбросив котомку с плеч, Лѣнька положил на нее голову и, немного посмотрѣв в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решѣтчатой тѣнью плетня...

¹ П у т и н а — здесь: путь.

² Б у д е — когда надо будет.

³ Г у с л и — музыкальный инструмент в видѣ фигурного ящика со струнами.

Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалёку от него. Плакали по-детски — задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой, минорной¹ ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красивым и вспухшим от слёз лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идёт. У неё были большие чёрные глаза, теперь — обижённые, грустные и влажные; маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрёпанных и падавших ей на лоб, щеки и плечи.

Она показала Лёнке очень смешной, несмотря на свои слёзы, — смешной и весёлой... И озорница, должно быть!..

— Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на ноги, когда она поравнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но всё ещё потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у неё снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарывав, она пошла.

Лёнка почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошёл за ней.

— А ты не плачь. Большая уж — стыдно! — заговорил он, ещё не поравнявшись с ней, и потом, когда догнал её, заглянул ей в лицо и переспросил снова: — Ну, чего ты разревелась?

— Да-а!.. — протянула она. — Кабы тебе... — и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно заныла.

— Ну! — пренебрежительно махнул рукой Лёнка. — Баба!.. Как есть — баба. Фу ты!..

Но это не помогло ни ей, ни ему. Лёнке, глядя, как между её тонкими, розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно поднимая руку, чуть дотронулся до её волос, но тотчас же, испугавшись

¹ Минорный — печальный, невесёлый, грустный.

своей смелости, отдернул руку прочь. Она всё плакала и ничего не говорила.

— Слышь!..— помолчав, начал Лёнька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей.— Чего ты это? Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдёт!.. А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка — а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и, наконец, сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечами:

— Платок... потеряла!.. Батка с базара привёз... голубой, с цветками, а я надела — и потеряла.— И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Лёнька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от неё, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

— Не плачь!.. Может, найдётся...— тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся ещё дальше от неё, думая, что, наверное, от отца достанется ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и чёрный казак, колотит её, а она, захлёбываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах...

Он встал и пошёл прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против неё, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе...

— Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Поди домой, да и скажи всё, как было. Потеряла, мол... Что уж больно...

Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущённым восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

— Вот и ладно!..— улыбаясь и оживлённо продолжал он.— Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Лёнька гордо повёл плечами, оглянувшись вокруг себя.

— Не надо...— прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и всё всхлипывая.

— А то — пойду? — с полнейшей готовностью громко заявил Лёнька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надётые на нём лохмотья как-то храбро заершились¹. Он твёрдо постукивал палкой о землю и смотрел на неё упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слёзы, и, снова вздохнув, сказала:

— Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Леньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрывалась за поворотом проулка:

— Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная, тяжёлая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополёй зарделись² лёгким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди, и где-то ещё дальше, но в другой стороне — пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Леньке стало ещё скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошёл вперёд по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шёл и чувствовал, что у него в груди сердце бьётся так часто, часто и что ему как-то особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: «Что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут её бить: все богачи — скряги³; а коли бедная, то, может, и не будут... В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут». Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее⁴ чувство тос-

¹ Заершиться — задорно вздёрнуться, как плавники у ерша.

² Зардеться — покраснеться.

³ Скряга — очень скупой человек.

⁴ Щемящее — гнетущее, давящее.

ки, как тень сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладевало им всё более.

И тени вечера становились удручливее, гуще. Навстречу Лёнке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым, крупным фигурам и быстро шёл к церкви, — крест её сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему несся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли её кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идёт к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжёлой, развалистой походкой шагает станичник¹ в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.

— Что, пустя котомка-то? — спросил дед, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды. — А я вон сколько!.. — и, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщовый, туго набитый мешок. — Ух!.. хорошо здесь подають! Ахти, хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?

— Голова болит... — тихо молвил Лёнка, опускаясь на землю рядом с дедом.

— Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдём сейчас. Как казака-то того звать? А?

— Андрей Чёрный.

— Так мы и спросим: а где, мол, тут Чёрный Андрей? Вот к нам человек идёт... Да... Хороший народ, сытый! И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!

Казаки подошёл к ним вплоть и медленно проговорил в ответ на приветствие дёда:

— И вы здравствуйте!

Затем, широко расставив ноги и остановив на них большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался.

¹ Станичник — казак, житель станицы.

Лёнька смотрёл на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами вопросительно, казак всё молчал и, наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и, наконец, прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

— Ну — пойдёте в сборную!¹

— Зачем? — встрепенулся дед.

У Лёньки дрогнуло что-то внутри.

— А надо... Велено. Ну!

Он повернулся к ним спиной и пошёл было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

— Чего же ещё?

Тогда дед и Лёнька быстро пошли за ним.

Лёнька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда, в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таманскую историю. Там дед стянул со двора бельё и его поймали с ним.

Смеялись, ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало... Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю ночь стонал и шёпотом молился богу, называя себя вóром и прося прощенья.

— Лёнька...

Лёнька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё дрожало.

Казак шёл вперёд шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

— На вот, возьми!.. брось... в бурьян... да замётъ, где бросишь... чтобы взять после... — чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свёрнутую в комок.

Лёнька отстранился, дрогнув от страха, сразу напóл-

¹ Сборная — здесь: изба, в которой происходят собрания — сходы казаков.

нившего холодом всё его существо, и подошёл ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряжённо глядя на широкую спину казака-конвойра, он протянул в сторону руку и, посмотрев на неё, бросил тряпку в бурьян...

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Лёньки мелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслонённый образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, дёда и всё окружающее... Звук её рыданий снова ясно раздался в ушах Лёньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слёз.

В этом почти неменяемом состоянии¹ он пришёл позади дёда в сборную, слышал глухое гуденье, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки дёда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая, глухо и мягко стучали о стол... Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны, и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов...

— Напрасно, православные!.. Неповинен, видит господь!.. — пронзительно взвизгнул дед.

Лёнька, заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

— Брешет Даниловна, чёртова баба! — гроыхнул кто-то, точно ударив по ушам Лёньки своим густым и раздражённым голосом.

— А может, они спрятали где? — крикнули в ответ ещё громче.

Лёнька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то чёрную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев².

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях дёда, над лицом его наклонилось дёдово лицо, жалкое и

¹ Невменяемое состояние — состояние, при котором человек почти не владеет собой и едва сознаёт, что делается кругом.

² Зев — отверстие, пасть.

смóрщенное бóлее, чем всегдá, и из дéдовых глаз, испуганно моргáвших, кáпают на егó, Лёнькин, лоб мáленькие мýтные слёзы и оченъ щекóтят, скáтываясь по щекáм на шею...

— Оклемáлся ли¹, родно́й?!. Пойдём-ка отсю́да. Пойдём,— отпусти́ли, прокля́тые!

Лёнька подня́лся, чу́вствуя, что в егó головé нáлито чтó-то тяжёлое и что она́ вот-вóт упаде́т с плеч... Он взял её рука́ми и закача́лся из сторо́ны в сто́рону, т́ихо стона́я.

— Боли́т голо́вонька-то? Рóдненький ты мой!.. Изму́чили они́ нас с тобо́й... Звёри! Кинжа́л пропа́л, вишь ты, да плато́к девчо́нка потеря́ла, ну, они́ и навали́лись на нас!.. Ох, го́споди!.. за что наказу́ешь?!

Скрипучи́й го́лос дéда кáк-то цара́пал Лёньку, и он чу́вствовал, что внут́ри егó разгора́ется о́страя йскорка, заставля́я егó отодви́нуться от дéда да́льше. Отодви́нулся и посмотре́л вокру́г...

Они́ сидели́ у вы́хода из стани́цы, под густо́й те́нью ветве́й коря́вого осокóря. Ужé настáла ночь, возо́дла луна́, и её молóчно-серебри́стый свет, облива́я ро́вное степно́е простран́ство, сде́лал егó как бы у́же, чем оно́ бы́ло днём, у́же и ещё́ пусты́нней, грустне́е. Издалека́, со степи́, слито́й с не́бом, вздыма́лись ту́чи и т́ихо плы́ли над ней, закрывáя луну́ и броса́я на зéмлю густы́е те́ни. Те́ни плóтно ложи́лись на зéмлю, ме́дленно, задумчи́во ползли́ по ней и вдруг пропа́дали, то́чно уходя́ в зéмлю че́рез трéщины от жгу́чих уда́ров со́лнечных луче́й... Из стани́цы доно́сились го́лоса́, и кое-гдé в ней вспыхивали огонё́к, переме́гиваясь с я́рко-золоты́ми звёздами.

— Пойдём, ми́лый!.. иди́ти на́до,— сказа́л дед.

— Посиди́м ещё!..— т́ихо сказа́л Лёнька.

Ему́ нра́вилась степь. Днём, идя́ по ней, он люби́л смотре́ть вперёд, тудá, где свод не́ба опира́ется на её широ́кую грудь... Там он представля́л себе́ больш́ие, чу́дные городá, населённые невиданны́ми им до́брыми людьми́, у кото́рых не ну́жно бу́дет проси́ть хлéба — са́ми даду́т, без просьб... А когдá степь, всё ши́ре развёртываясь перед егó глаза́ми, вдруг выдвигáла из себя́ стани́цу, ужé знако́мую ему́, похо́жую стро́ениями и людьми́ на все те, кото́рые он ви́дел прёжде, ему́ де́лалось гру́стно и обидно́ за э́тот обмáн.

¹ Оклема́ться — опра́виться, отлежа́ться.

И тепёр он задумчиво смотрёл вдаль, откуда выползали медленно тучи. Онí казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание¹ прервал сухой кашель дёда.

Лёнька пристально взглянул в смоченные слезами лицо дёда, жадно глотавшего воздух.

Освещённое луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаённым восторгом,— было страшно, жалко и, возбуждая в Лёньке то, новое для него, чувство, заставляло его отодвигаться от дёда подальше...

— Ну посидим, посидим!..— бормотал он и, глупо ухмыляясь, шарил за пазухой.

Лёнька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

— Лёнька!.. Поглядь-ка!..— вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удрушливого кашля, протянул внучку что-то длинное и блестящее.— В серебрё! серебрó ведь!.. полсотни стоит!..

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и всё лицо передёргивалось.

Лёнька вздрогнул и оттолкнул его руку.

— Спрячь скорей!.. ах, дедушка, спрячь!..— умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

— Ну, чего ты, дурашка? бойшься, милый?.. Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу... а потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку уронил, наклонился и взял его... Дураки они!.. И платок взял, вот он где!..

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Лёньки.

Перед глазами Лёньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей, идут пугливо, и Лёньке кажется, что каждый, кто хочет, вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться... Всё окружающее — заборы, дома, деревья — в каком-то странном тумане колеблется, точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса... Этот тяжёлый путь бесконечно долог, и выход из станицы в поле не

¹ Созерцание — мечтательное наблюдение.

виден за плътной ма́ссой шата́ющихся домо́в, кото́рые то приди́вгаются к ним, то́чно жела́я раздави́ть их, то уходи́т куда́-то, смея́сь им в ли́цо те́мными пята́ми свои́х о́кон... И вдруг из одно́го о́кна звонко раздаётся: «Вори́шки! Вори́шки! Вори́шка, ворёнок!..» Лёнька укра́дкой броса́ет взгляд в сто́рону и ви́дит в о́кне ту де́вочку, кото́рую да́веча он ви́дел пла́чущей и хоте́л защища́ть... Она́ пойма́ла его́ взгляд и вы́сунула ему́ язы́к, а её си́ние гла́зки сверка́ли зло и о́стро и коло́ли Лёньку, как и́глы.

Эта карти́на воскре́сла в па́мяти ма́льчика и момен-та́льно исче́зла, оста́вив по себе́ злу́ю улы́бку, кото́рую он бро́сил в ли́цо де́ду.

Дед всё говори́л что́-то, прерыва́я себя́ ка́шлем, ма-ха́л рука́ми, тряс голо́вой и отира́л пот, кру́пными ка́п-лями выступав́ший в морщи́нах его́ лица́.

Тяжё́лая, избо́рванная и лохма́тая ту́ча закры́ла лу-ну́, и Лёньке почти́ не ви́дно было́ лица́ де́да... Но он поста́вил ря́дом с ним пла́чущую де́вочку, вызва́в её о́браз перед собо́й, и мы́сленно как бы изме́рял их обо́их. Не́мощный, скри́пучий, жа́дный и рва́ный дед ря́дом с ней, оби́женной им, пла́чущей, но здоро́вой, све́жей, краси́вой, показале́ся ему́ ненуж́ным и почти́ та́ким же злым и дрянны́м, как Каще́й в ска́зке. Как э́то мо́жно? За что он оби́дел её? Он не родно́й ей...

А дед скри́пел:

— Кабы́ сто рублё́й скопи́ты!.. Умер бы я тогда́ по-ко́йно...

— Ну!..— вдруг вспыхну́ло что́-то в Лёньке.— Мол-чи́ уж ты! Умер бы, умер бы... А не умира́ешь вот... Во-ру́ешь!..— взвизгну́л Лёнька и вдруг, весь дрожа́, вскочил на́ ноги.— Вор ты ста́рый!.. У-у! — и, сжа́в ма́лень-кий, сухи́й кулачо́к, он потре́с им перед но́сом внеза́пно замолкше́го де́да и сно́ва гру́зно опу́стился на зе́млю, продолжа́я сквозь зу́бы: — У дити́¹ укра́л... Ах, хорошо́!.. Ста́рый, а туда́ же... Не бу́дет тебе́ на том све́те про-щё́нья за э́то!..

Вдруг вся степь всколыхну́лась и, охва́ченная осле-пите́льно голу́бым све́том, расши́рилась... Одева́вшая её мгла дро́гнула и исче́зла на момен́т... Гряну́л уда́р гро́ма и, рокоча́, покати́лся над сте́пью, сотряса́я и её, и

¹ У д и т и́ (пра́вильно: дитя́) — у ребё́нка.

небо, по которому теперь быстро летела густая толпа чёрных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то ещё молча, но грозно сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром... Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Лёнька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

— Дедушка!.. — прошептал Лёнька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома. — Идём в станцию!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга...

— Дедушка!.. — крикнул Лёнька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький, разбитый колокол.

— Что ты... Боишься... — хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чём-то... Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громадной щёткой по сухой земле, — а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома всё приближались, и небо вспыхивало чаще.

— Не пойду я в станцию! Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьёт!.. — задыхаясь, говорил дед. — Не пойду!.. Иди один... Вот она, станция... Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошёл!.. Иди, иди!.. Иди!..

Дед уже кричал глухо и сипло.

— Дедушка!.. прости!.. — придвигаясь к нему, возмущённо сказал Лёнька.

— Не пойду... Не прощу... Семь лет я тебя нянчил!.. Всё для тебя... и жил... для тебя. Рази мне надо что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь — вор... Для чего вор? Для тебя... для тебя это всё... Вот возьми... возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал... Бог видит всё... Он знает... что воровал... знает... он меня накажет. О-он не помилует меня, старого пса... за воровство. И наказал уж... Господи! наказал

ты меня!.. а? наказал?.. Рукóй ребёнка убил ты меня!.. Вёрно, господа!.. Правильно!.. Справедлив ты, господа!.. Пошли по душу мою... Ох!..

Гóлос дéда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Лёньки ужас.

Удáры грóма, сотрясáя степь и нéбо, рокотáли тепérь так гúлко и торопливо, тóчно кáждый из них хотéл скáзать землé чтó-то необходимо нúжное для неё, и все онí, перегоняя один другóго, ревéли почти без пáуз. Раздираемое мóлниями нéбо дрожáло, дрожáла и степь, то вся вспыхивая синим огнём, то погружáясь в холóдный, тяжёлый и тесный мрак, стрáнно суживавший её. Иногда мóлния освещáла даль. Эта даль, казалась, торопливо убегáет от шúма и рёва...

Полил дождь, и его кáпли, блестя, как сталь, при блéске мóлнии, скрыли собóй привётно мигáвшие огонькí стáницы.

Лёнька замирáл от ужаса, хóлода и какóго-то тоскливого чúвства вины, рождённого криком дéда. Он устáвил перед собóю широко раскрытые глазá и, боясь моргнуть ими дáже и тогда, когда кáпли воды, стекáя с его вымоченной дождём головы, попадали в них, прислушивался к гóлосу дéда, тонúвшему в мóре могúчих звúков.

Лёнька чúвствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалась, что он дóлжен пропасть, уйти куда-то и остáвить его тут одногó. Он, незамётно для себя, понемногу придвигáлся к дéду и, когда коснóлся его лóктем, вздрóгнул, ожидáя чегó-то стрáшного...

Разорвáв нéбо, мóлния осветила их обóих, рядом друг с другóм, скóрченных, мáленьких, обливáемых потóками воды с ветвéй дéрева...

Дед махáл рукóй в вóздухе и всё бормотáл чтó-то, уже уставáя и задыхáясь.

Взглянуv ему в лицó, Лёнька крикнул от стрáха... При синем блéске мóлнии онó казалась мёртвым, а вращáвшиеся на нём тусклые глазá бы́ли безúмны.

— Дéдушка!.. Пойдём!..— взвизгнул он, ткнув своú гóлову в колéни дéда.

Дед склонился над ним, обняв его своими рукáми, тонкими и костлявыми, крéпко прижáл к себе и, тиская его, вдруг взвыл сýльно и пронзительно, как волк, схваченный капкáном.

Доведённый этим вѣем чуть не до сумасшества, Лѣнька вѣрвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперёд, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя всё глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздражённого грохота грома.

Полутру другого дня, выбежав за околицу¹, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был жив ещё. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чём-то слезящимися глазами и всё искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, найдя, что на погосте² его хоронить не следует: во-первых — он чужой, во-вторых — вор, а в-третьих — умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашёлся Лѣнька.

Над одной степной балкой³, недалёко от станицы, стали кружиться стаи ворон, и, когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он ещё ребёнок, но, подумав, положили рядом с дѣдом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нём поставили грубый каменный крест.

1894

¹ Околица — изгородь, окружающая станицу.

² Погост — кладбище.

³ Балка — овраг.

Ч Е Л К А Ш

Потемнёвшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми киллями¹ турецких фелюг² и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань³. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам⁴, бьются о борты судов, о берега, бьются и ропшут, вспененные, загрязнённые разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчицких телег, свистки паровозов, то пронзительно резкие, то глухо ревящие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат⁵ — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятёжно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово со-

¹ Киль — острый край дна судна.

² Фелюга — небольшое парусное судно.

³ Гавань — защищённое от ветра место у морского берега для стоянки кораблей.

⁴ Хребет — здесь: верхушки волн.

⁵ Таможенные — служащие при таможне, то есть учреждении, которое проверяет товары, ввозимые из-за границы.

трясают всё кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — всё дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию¹. Но голоса людей, еле слышные в нём, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колёсами², грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило³ их.

Стоя под парами⁴, тяжёлые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рождённом ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слёз смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, оступевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестявшие на солнце дорожством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение всё-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии⁵.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пёк тело и изнурял его, и всё кругом — казалось напряжённым, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой⁶, взрывом, за которым в освежённом им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражаю-

¹ Гимн Меркурию — хвалебная песнь в честь Меркурия (по верованиям древних римлян — бога торговли).

² Колёса — здесь: огромное морское судно.

³ Обезличить — лишить людей человеческого достоинства, превратив их в рабов.

⁴ Стоять под парами — быть готовыми к отплытию.

⁵ Ирония — насмешка.

⁶ Катастрофа — здесь: внезапное потрясение.

щий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно.

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту ещё она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную снедь¹ и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках,— появился Гришка Челкаш, старый травленный волк², хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых³ штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным, чёрным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буре усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблёскивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у котёнка, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищ-

¹ Снедь — еда, пища.

² Травленный волк — здесь: опытный, много испытавший человек.

³ Плисовые — сшитые из плиса, хлопчатобумажной ткани, похожей на бархат.

ной худобой и этой прицеливающейся похóдкой, плáвной и покóйной с вíду, но внúтренно возбуждённой и зóркой, как лёт той хищной птицы, которóую он напоми-
нáл.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстрéчу встал коренастый малый с глúпым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть недáвно избíтый. Он встал и пошёл рядом с Челкашóм, вполгóлоса говоря:

— Флóтские ¹ двух мест ² мануфактúры хватíлись... Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, спокойнó смéрив его гла-
зáми.

— Чегó — ну? Ищут, мол. Бóльше ничегó.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помóг поискáть? И Челкаш с улыбкой посмóтрел тудá, где помещáется пакгауз ³ Добровóльного флóта.

— Пошёл к чёрту!

Товáрищ поверну́л назáд.

— Эй, погодí! Кто это тебя изукрáсил? Ишь как испóртили вывеску-то... ⁴ Мíшку не видáл здесь?

— Дáвно не видáл! — крикнул тот, уходя к своим товáрищам.

Челкаш шагáл дáльше, встречаемый всéми, как человек хорошó знакомый. Но он, всегда весёлый и ёдкий, был сего́дня, очевíдно, не в дúхе и отвечáл на расспро-
сы отрывисто и рёзко.

Откúда-то из-за бунтá товáра ⁵ вывернулся тамóжен-
ный стóрож, тёмно-зелёный, пыльный и воинственнó-пря-
мой. Он загородíл дорóгу Челкашú, встав перед ним в вызы-
вающей пóзе ⁶, схватившись лéвой рукóй за рúчку кóртика ⁷, а прáвой пытáясь взять Челкашá за вóрот.

— Стой! Кудá идёшь?

¹ Флóтский — моряк с сúдна.

² Двух мест — здесь: двух тюков, кип.

³ Пакгауз — здáние для хранéния товáров.

⁴ Испóртили вывеску-то — здесь: испóртили лицó.

⁵ Бунт товáра — связка, кíпа товáра, слóженного прáвиль-
ными рядами.

⁶ Вызывáющая пóза — угрожающая.

⁷ Кóртик — úзкий кинжáл (орúжие комáндного сóстава мор-
скóго и воздúшного флóта).

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину¹, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, рёбра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семёныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видеть! Иди, иди!..

Но Семёныч всё-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семёныча и приятельски-фамильярно² потряхивая её, — ты Мишку не видал?

— Какого ещё Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошёл, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костромё», — стоял на своём Челкаш.

— С которым воруюсь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой³. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь, вот. Ты чего же такой сердитый, Семёныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно поглядывал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь⁴ и уйду. Ну, рассказывай, как живёшь?.. жена, лётки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — в гости к тебе собираюсь, да всё времени нет — пью всё вот...

— Ну, ну, — ты это брось! Ты — не шути, дьявол

¹ Мина — здесь: выражение лица.

² Фамильярность — слишком развязная манера поведения.

³ Штыка — здесь: брусок.

⁴ Вдосталь — вдоволь, сколько хочё.

костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семёныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семёныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущённый Семёныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово¹ ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шёл медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — бóсый, так вот Семёныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и лёгонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешёл через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстрёчу им неслись порожние² телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала³ воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной суетлоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки...⁴ Вспомнился товарищ Мышка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мышки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

¹ Неистово — буйно, безудержно, бешено.

² Порожний — пустой, без груза.

³ Изрыгать — здесь: выбрасывать.

⁴ Кредитные бумажки — бумажные деньги.

Шага́х в шести́ от него́, у троту́ара, на мостово́й, прислоня́сь спиной к ту́мбочке, сиде́л молодо́й па́рень в си́ней пестряди́нной¹ рубáхе, в таки́х же штанáх, в лаптя́х и в оборо́ванном ры́жем картузе́. Около него́ лежа́ла ма́ленькая котомка и коса́ без черенка́, оборо́нутая в жгут из соло́мы, аккурати́но перекре́ченный верёвочкой. Па́рень был широкоплéч, корена́ст, ру́сый, с загорéлым и обветре́нным ли́цом и с большо́ими голу́быми глаза́ми, смотре́вшими на Челкаша́ довере́чиво и доброду́шно.

Челка́ш оскáлил зу́бы, вы́сунул язы́к и, сде́лав стра́шную ро́жу, уста́вился на него́ вы́таращенными глаза́ми.

Па́рень, сна́чала недоумева́я, смигну́л², но пото́м вдруг расхохотáлся, кри́кнул сквозь смех: «Ах, чудáк!» — и, почти́ не вставáя с земли́, неуклю́же перевали́лся от своёй ту́мбочки к ту́мбочке Челкаша́, волоча́ свою́ котомку по пы́ли и посту́кивая пята́кой косы́ о ка́мни.

— Что, брат, погуля́л, ви́дно, здоро́во!.. — обрати́лся он к Челкашу́, де́рнув его́ штаня́ну.

— Бы́ло де́ло, сосуно́к³, бы́ло э́такое де́ло! — улыба́ясь, созна́лся Челка́ш. Ему́ срáзу понра́вился э́тот здоро́вый, доброду́шный па́рень с ребя́чьими све́тлыми глаза́ми. — С косови́цы⁴, что ли?

— Как же!.. Коси́ли версту́ — вы́косили грош. Плóхи дела́-то! Нар-ро́ду — у́йма! Голода́ющий э́тот са́мый приплéлся, — це́ну сб́или, хоть не берис́ь! Шесть гри́вен в Кубáни плати́ли. Дела́!.. А ра́ньше-то, говоря́т, три цело́ковых це́на, четы́ре, пять!..

— Ра́ньше!.. Ра́ньше-то за одно́ погляде́ние на ру́сского челове́ка там тре́шну плати́ли. Я вот годо́в де́сять тому́ наза́д э́тим са́мым и промы́лял. Приде́шь в станицу́ — ру́сский, мол, я! — Сейча́с тебя́ поглядя́т, пошу́пают, подиву́ются и — получи́ три рубля́! Да напо́ят, накормя́т. И живи́ сколько хоче́шь!

Па́рень, слу́шая Челкаша́, сна́чала широко́ откры́л рот, выража́я на кру́глой физионо́мии недоумева́ющее восхище́ние, но пото́м, поня́в, что оборо́вонец врёт, шле́пнул губáми и захохотáл. Челка́ш сохра́нял серьёзную ми́ну, скрыва́я улы́бку в свои́х усах.

¹ Пестряди́нный — сшитый из гру́бой пёстрой хлопчатобу-
ма́жной тка́ни.

² Смигну́ть — моргну́ть глаза́ми, мигну́ть.

³ Сосуно́к — здесь: необы́тный, молодóй.

⁴ Косови́ца — сенокос.

— Чудáк, говоришь б́удто правду, а я сл́ушаю да ве-
рю... Нет, ей-бóгу, рáньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю́, что, мол, там
рáньше...

— Поди ты!.. — махну́л руко́й па́рень.— Сапо́жник,
что ли? Али портно́й?.. Ты-то?

— Я-то? — переспроси́л Челка́ш и, подума́в, сказа́л:—
Рыба́к я...

— Рыба́-ак! Ишь ты! Что же, ло́вишь ры́бу?..

— За́чем ры́бу? Зде́шние рыбаки́ не одну́ ры́бу ло́-
вят. Бо́льше уто́пленников, ста́рые якоря́, потону́вшие
суда́ — всё! Удочки́ такие́ есть для э́того...

— Ври, ври!.. Из тех, мо́жет, рыбако́в, кото́рые про
себя́ пою́т:

Мы заки́дываем се́ти
По сухи́м берега́м
Да по амба́рам, по клетя́м!..

— А ты ви́дал таки́х? — спроси́л Челка́ш, с усме́ш-
кой погла́дывая на него́.

— Нет, ви́дaть где же! Слыха́л...

— Нра́вятся?

— О́ни-то? Как же!.. Ниче́го ребя́та, во́льные, сво-
бо́дные...

— А что тебе́ — свобо́да?.. Ты ра́зве лю́бишь свобо́ду?

— Да ведь как же? Сам себе́ хозя́ин, поше́л — ку-
да́ хошь, де́лай — что хошь... Ещ́е бы! Ко́ли суме́ешь се-
бе́ в поря́дке держа́ть, да на шее́ у тебя́ каме́й нет,—
пе́рвое де́ло! Гуля́й зна́й, как хошь, бо́га то́лько по́мни...

Челка́ш презри́тельно сплю́нул и отверну́лся от па́рня.

— Сейча́с вот моё де́ло... — говори́л тот.— Оте́ц у
меня́ — у́мер, хозяй́ство — ма́лое, мать стару́ха, земля́ вы-
сосана,— что я до́лжен де́лать? Жи́ть — на́до. А как?
Неизве́стно. Пойду́ я в зя́тья¹ в хоро́ший дом. Ла́дно.
Кабы́ вы́делили до́чь-то!.. Нет ведь — тесть²-дья́вол не
вы́делит. Ну, и бу́ду я лома́ть на него́...³ до́лго... Годá!
Вишь, какие́ дела́-то! А кабы́ мне рубле́й ста полтора́
заро́бить⁴, сейча́с бы я на́ ноги встал и — Анти́пу-то —
на́кося, вы́куси! Хошь вы́делить Ма́рфу? Нет? Не на́до!

¹ Зя́ть — муж до́чери.

² Тесть — отец жены́.

³ Ломáть на него́ — рабо́тать на него́.

⁴ За ро́бить — зарабо́тать

Сла́ва бо́гу, де́вок в дере́вне не одна́ она́. И был бы я, значит, совсе́м свобо́ден, сам по себе́... Н-да! — Па́рень вздохну́л. — А тепе́рь ниче́го не поде́лаешь ина́че, как в зя́тья иди́ти. Ду́мал бы́ло я: вот, мол, на Куба́нь-то пойду́, рубле́в два ста тя́пну¹, — шаба́ш! ба́рин!.. Ан не вы́горело. Ну и пойдёшь в батраки́... Свои́м хозяйством не испра́влюсь я, ни в како́м ра́зе!² Эхе-хе!..

Па́рню си́льно не хоте́лось иди́ти в зя́тья. У него́ да́же лицо́ печа́льно потускне́ло. Он тяжело́ зае́рзал на земле́.

Челка́ш спроси́л:

— Тепе́рь куда́ ж ты?

— Да ве́дь — куда́? изве́стно, домо́й.

— Ну, брат, мне э́то неизве́стно, мо́жет, ты в Ту́рцию собра́лся...

— В Ту́-урцию!.. — протяну́л па́рень. — Кто ж э́то туда́ ходит из правосла́вных? Сказа́л то́же!..

— Экой ты дура́к! — вздохну́л Челка́ш и сно́ва отвороти́лся от собесе́дника. В нём э́тот здоро́вый дереве́нский па́рень что́-то буди́л...

Сму́тное, ме́дленно назрева́вшее, доса́дливое чу́ство копоши́лось где́-то глубоко́ и меша́ло ему́ сосре́доточи́ться и обду́мать то, что ну́жно бы́ло сде́лать в э́ту ночь.

Обру́ганный па́рень бормота́л что́-то впло́ггоса, изредка́ броса́я на босяка́ косые́ взгляды́. У него́ смешно́ наду́лись ще́ки, оттопы́рились гу́бы и су́женные глаза́ как-то чере́счу́р ча́сто и смешно́ помаргивали. Он, оче́видно, не ожида́л, что его́ разгово́р с э́тим уса́тым оборо́вцем ко́нчится так бы́стро и оби́дно...

Оборо́вонец не обра́щал бо́льше на него́ внима́ния. Он задумчи́во посвистыва́л, си́дя на ту́мбочке и отбива́я по ней такт го́лой грязной пя́ткой.

Па́рню хоте́лось поквита́ться³ с ним.

— Эй ты, рыба́к! Ча́сто э́то ты запива́ешь-то? — нача́л бы́ло он, но в э́тот же моме́нт рыба́к бы́стро оберну́л к нему́ лицо́, спроси́в его́:

— Слу́шай, сосу́н! Хо́чешь сего́дня но́чью рабо́тать со мной? Говори́ скорей́!

— Че́го рабо́тать? — недове́рчиво спроси́л па́рень.

¹ Тя́пнуть — здесь: зарабо́тать.

² Свои́м хозяйством не испра́влюсь я, ни в како́м ра́зе — свои́м хозяйством не проживу́, не выйду́ из бе́дствен-ного поло́жения ни в ко́ем слу́чае.

³ Поквита́ться — отплати́ть за оби́ду.

— Ну, чего!.. Чего заставляю... Рыбу ловить поедём. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... тёмен¹ ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твёрдый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Мёрая друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесённого ему этим молоденьким телёнком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик, — за всю его жизнь, прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребёнок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нём хозяина.

— Ведь я... не прочь... — заговорил он. — Работы ведь и ищу. Мне всё равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, — больно уж товó... дра́ный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, ра́зи я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да ещё и не таких, как ты.

— Ну ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

¹ Закомурист... тёмен — непонятен, подозрителен.

— Ценá у меня по рабóте. Какáя рабóта бóдет. Какой улов, значит... Пятитку мóжешь получить. Пóнял?

Но тепérь дéло касáлось дéнег, а тут крестьянин хотéл быть тóчным и трéбовал той же тóчности от нанимáтеля. У пáрня вновь вспыхнуло недоверéе и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкáш вошёл в роль:

— Не толкуй, погоди! Идём в трактёр!

И онí пошли по úлице рядом друг с дрúгом. Челкáш — с вáжной мíной хозяина, покрúчивая усы, пáрень — с выражéнием пóлной готóвности подчиниться, но всё-таки пóлный недоверéия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкáш.

— Гаврилом! — отвéтил пáрень.

Когда онí пришли в грязный и закоптёлый трактёр, Челкáш, подойдя к буфétу, фамильярным тóном завсегдáтая¹ заказáл бутылку вóдки, шей, поджáрку из мýса, чаю и, перечислив трéбуемое, кóротно брóсил буфétчику: «В долг всё!», на что буфétчик мóлча кивну́л головой. Тут Гаври́ла срáзу преиспóлнился уважéнием к своему́ хозяину, котóрый, несмотря на свой вид жу́лика, пользуетсá такой извёстностью и доверéем.

— Ну, вот мы тепérь закусим и поговорим тóлком. Пока ты посиди, а я схожé кое-куда.

Он ушёл. Гаври́ла осмотрéлся кругóм. Трактёр помещáлся в подвáле; в нём было сыро, темнó, и весь он был пóлон удúшливым зáпахом перегорéлой вóдки, табáчного дýма, смолы и ещё чегó-то óстрого. Прóтив Гаври́лы, за дрúгим столóм, сидéл пýяный человек в матрóсском костюме, с рыжéй бородóй, весь в угольной пы́ли и смоле. Он урчáл, поминúтно икáя, пёсню, всю из каких-то перéвранных и изломанных слов, то стрáшно шипящих, то гортáнных. Он был, очевíдно, не рýсский. Сзáди его поместíлись две молдавáнки; обóрванные, черноволóсые, загорéлые, онí тóже скрипéли пёсню пýяными голосáми.

Потóм из тьмы выступáли ещё рáзные фигурý, все стрáнно растрéпанные, все полупýяные, крикливые, беспокóйные...

Гаври́ле стáло жýтко. Ему захотéлось, чтóбы хозяин воротíлся скорéе. Шум в трактёре сливáлся в однó нó-

¹ Завсегдáтай — постоянный посетитель.

ту, и казало́сь, что это рычи́т како́е-то о́гро́мное живото́ное; оно́, облада́я со́тней разнообра́зных голосо́в, раздра́жённо, сле́по рвётся вон из э́той ка́менной я́мы и не нахо́дит вы́хода на во́лю... Гаври́ла чу́ствовал, как в его́ те́ло всасы́вается что́-то опьяня́ющее и тя́гостное, от чего́ у него́ кружи́лась голова́ и тумани́лись глаза́, любопы́тно и со стра́хом бе́гавшие по тракти́ру...

Прише́л Челка́ш, и они́ ста́ли есть и пить, разгово́ривая. С тре́тьей рю́мки Гаври́ла опьяне́л. Ему́ ста́ло ве́село и хоте́лось сказа́ть что́-нибудь приятное своему́ хозя́ину, кото́рый — сла́вный челове́к! — так вку́сно угости́л его́. Но слова́, це́лыми во́лнами подлива́вшиеся ему́ к го́рлу, почему́-то не сходи́ли с языка́, вдруг отя́желёвшего.

Челка́ш смотре́л на него́ и, насме́шливо улыба́ясь, говори́л:

— Наклю́кался!.. ¹ Э-эх, тю́ря! с пяти́ рю́мок!.. как рабо́тать-то бу́дешь?..

— Друг!.. — лепета́л Гаври́ла.— Не бойсь! Я тебе́ ува́жу!.. Дай поцелу́ю тебя́!.. а?..

— Ну, ну!.. На, ещё́ клю́кни!

Гаври́ла пил и доше́л, наконец, до того́, что у него́ в глаза́х всё ста́ло колеба́ться ро́вными, волнообра́зными движе́ниями. Это бы́ло неприятно́ и от э́того тошн́ило. Лицо́ у него́ сде́лалось глупо-востор́женное. Пыта́ясь сказа́ть что́-нибудь, он смешно́ шле́пал губа́ми и мыча́л. Челка́ш, приста́льно погла́дывая на него́, то́чно воспомина́л что́-то, крути́л свой усы́ и всё улыба́лся хму́ро.

А тракти́р реве́л пьяным шу́мом. Ры́жий матро́с спал, облокотя́сь на стол.

— Ну́-ка, и́дём! — сказа́л Челка́ш, встава́я.

Гаври́ла попо́бовал подня́ться, но не смог и, кре́пко обруга́вшись, засме́ялся бессмы́сленным сме́хом пьяного́.

— Развезло́! — мо́лвил Челка́ш, сно́ва уса́живаясь про́тив него́ на стул.

Гаври́ла всё хохота́л, тупы́ми глаза́ми погла́дывая на хозя́ина. И тот смотре́л на него́ приста́льно, зорко́ и заду́мчиво. Он ви́дел перед собо́ю челове́ка, жизнь кото́рого попа́ла в его́ во́лчьи ла́пы. Он, Челка́ш, чу́ствовал себя́ в си́ле поверну́ть её и так и э́так. Он мог разло-

¹ На к л ю к а т ь с я — на́питься допьяна́.

мать её, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьёт такой чаши¹, какую судьба дала испить ему, Челкашю... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмевался над ней и даже огорчался за неё, представляя, что она может ещё раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Мало было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от полённицы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с вёслами.

— Сейчас! Уключина² вот шатаётся, — можно разок вдарить³ веслом?

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави её руками крепче, она и войдёт себе на место.

Оба они тихо возылись с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом⁴ и толстыми кряжами⁵ кипариса.

Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было спокойно, чёрно и густо, как масло. Оно дышало влажным, солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далёкое пространство от берега с моря подымались тёмные остовы судов⁶,

¹ Не изопьёт такой чаши — не переживёт таких трудностей.

² Уключина — приспособление для вёсел на бортах лодки.

³ Вдарить — ударить.

⁴ Сандал — дерево с пахучей древесиной, из которой делают краску.

⁵ Кряж — обрубок ствола крупного дерева.

⁶ Остов судна — корпус судна.

вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-чёрном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием¹, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугу́н гудит!.. Намочу её водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься. — И он протянул Гавриле бутылку.

— Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. Будет! — остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертась среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие то-скливые, тяжёлые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свой цвет и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всплывать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звёзд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нём, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть

¹ Фосфорическое сияние — бледный мерцающий свет.



Он пошёл, пошатываясь и всё поддёрживая голову ладонью левой руки...

слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и всё блестела тёплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой тёмной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулём воду и смотрел вперёд спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нём всегда поднималось широкое, тёплое чувство,— охватывая всю его душу, оно немного очищало её от житейской скверны¹. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая её злые порывы, рождает в ней могучие мечты...

— А снасть²-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспечно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передёрнуло его, он внушительно и жёстко сказал Гавриле:

— Ты вот что,— сидишь, ну и сиди! А не в своё дело носа не суй. Наняли тебя грести, и гребёй. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Вёсла остались в воде, вспенивая её, и Гаврила беспечно завоёзился на скамье.

— Гребёй!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул вёслами. Лодка точно испугалась и пошла быстро, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

¹ Житейская скверна — всё скверное, что встречается в жизни.

² Снасть — здесь: рыболовные принадлежности.

— Ровнёй!..

Челкаш привста́л с кормы́, не выпуска́я весла́ из рук и воткну́в свои́ холо́дные глаза́ в бле́дное лицо́ Гаври́лы. Изогну́вшийся, наклоня́ясь впе́ред, он походи́л на ко́шку, гото́вую пры́гнуть. Слы́шно бы́ло зло́е скри́пение зу́бов и ро́бкое поше́лкивание каки́ми-то ко́стяшками.

— Кто кричи́т? — разда́лся с мо́ря суро́вый о́крик.

— Ну, дя́вол, греби́ же!.. ти́ше!.. убью́, соба́ку!.. Ну же, греби́! Раз, два! Пы́кни то́лько!.. Р-разорву́!.. — шипе́л Челка́ш.

— Богоро́дице... де́во... — шепта́л Гаври́ла, дрожа́ и изнемога́я от стра́ха и уси́лий.

Ло́дка пла́вно поверну́лась и пошла́ наза́д к га́вани, где огни́ фонаре́й столпи́лись в разноце́втную гру́ппу и видны́ бы́ли ство́лы мачт.

— Эй! кто оре́т? — донесло́сь сно́ва.

Тепе́рь го́лос был да́льше, чем в пе́рвый раз. Челка́ш успоко́ился.

— Сам ты и оре́шь! — сказа́л он по напра́влению кря́ков и зате́м обрати́лся к Гаври́ле, всё ещё шепта́вшему моли́тву: — Ну, брат, сча́стье твоё! Кабы́ э́ти дя́волы погна́лись за на́ми — коне́ц тебе́. Чу́ешь? Я бы тебя́ сра́зу — к ры́бам!..

Тепе́рь, когда́ Челка́ш говори́л споко́йно и да́же доброду́шно, Гаври́ла, всё ещё дрожа́щий от стра́ха, взмо́лился:

— Слу́шай, отпусти́ ты меня́! Хри́стом прошу́, отпусти́! Высади́ куда́-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опа́л я совсе́м!.. Ну, вспо́мни бо́га, отпусти́! Что я тебе́? Не могу́ я э́того!.. Не быва́л я в таки́х дела́х... Пе́рвый раз... Го́споди! Пропада́у ведь я! Как ты э́то, брат, обоше́л меня́? а? Грешно́ тебе́!.. Ду́шу ведь гу́бишь!.. Ну, дела́-а...

— Какие́ дела́? — суро́во спроси́л Челка́ш. — А? Ну, какие́ дела́?

Его́ забавля́л страх па́рня, и он наслажда́лся и стра́хом Гаври́лы и тем, что вот како́й он, Челка́ш, гро́зный челове́к.

— Те́мные дела́, брат... Пусти́ для бо́га!.. Что я тебе́?.. а?.. Мило́й!..

— Ну, молчи́! Не ну́жен был бы, так я тебя́ не брал бы. По́нял? — ну и молчи́!

— Го́споди! — вздохну́л Гаври́ла.

— Ну-ну!.. куксись¹ у меня! — оборвал его Челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ёрзал по лавке, но грёб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали тёмные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Бude спросит кто о чём — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропущая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шёпота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал вёсла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и всё время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За её гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай вёсла! Упирайся руками в стену! Тише, чёрт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повёл лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по нарощей на камне слизи.

— Стой!.. Дай вёсла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерёшь. Без вёсел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побойшься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найдё!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался чёрный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бок родил в нём глухое,

¹ Кукситься — хмуриться, быть недовольным.

гу́лкое э́хо, похо́жее на тяжё́лый вздох. Спра́ва над водо́й тяну́лась сыра́я ка́менная стена́ мо́ла¹, как холо́дная, тяжёлая змея́. Сза́ди видне́лись то́же какие-то чё́рные о́стовы, а спе́реди, в отве́рстие ме́жду стена́й и бо́ртом э́того грóба, ви́дно бы́ло мо́ре, молчали́вое, пусты́нное, с чё́рными над ним ту́чами. О́ни ме́дленно дв́гались, о́громные, тяжё́лые, источа́я из тьмы́ у́жас и гото́вые раздави́ть челове́ка тяжё́стью сво́ей. Все́ бы́ло хо́лодно, черно́, злове́ще. Гаври́ле ста́ло стра́шно. Э́тот страх был ху́же стра́ха, наве́янного на него́ Челкашом; он охватил гру́дь Гаври́лы крёпким объ́ятием, сжал его́ в ро́бкий комо́к и прикова́л к скаме́е ло́дки...

А круго́м все́ молча́ло. Ни зв́ука, крóме вздо́хов мо́ря. Ту́чи ползли́ по не́бу так же ме́дленно и ску́чно, как и ра́ньше, но их все́ бо́льше вздыма́лось из мо́ря, и мо́жно бы́ло, глядя́ на не́бо, ду́мать, что и оно́ то́же мо́ре, то́лько мо́ре взволно́ванное и опроки́нутое над друго́м, со́нным, поко́йным и гла́дким. Ту́чи походили́ на во́лны, рину́вшиеся на зе́млю вниз кудря́выми се́дыми хребта́ми, и на про́пасти, из кото́рых вы́рваны э́ти во́лны ве́тром, и на зарожда́вшиеся валы́, ещё́ не покрýтые зеленова́той пе́ной бе́шенства и гне́ва.

Гаври́ла чу́ствовал себя́ разда́вленным э́той мра́чной тиши́ной и красо́той и чу́ствовал, что он хо́чет ви́деть скорее́ хозя́ина. А е́сли он там оста́нется?.. Вре́мя шло́ ме́дленно, ме́дленнее, чем ползли́ ту́чи по не́бу... И тишина́, от вре́мени, становилась все́ злове́щей... Но вот за стена́й мо́ла послы́шался плеск, шо́рох и что́-то похо́жее на шё́пот. Гаври́ле показáлось, что он сейча́с умре́т...

— Эй! Спишь? Держи́!.. осторо́жно!.. — разда́лся глухо́й го́лос Челкаша́.

Со стена́й спуска́лось что́-то кубиче́ское и тяжё́лое. Гаври́ла при́нял э́то в ло́дку. Спу́стилось ещё́ о́дно тако́е же. За́тем попере́к стена́ вы́тянулась дли́нная фигу́ра Челкаша́, отку́да-то яви́лись ве́сла, к нога́м Гаври́лы упáла его́ котомка́, и тяжело́ дыша́вший Челка́ш уселся́ на корме́.

Гаври́ла ра́достно и ро́бно улыба́лся, глядя́ на него́.

— Уста́л? — спроси́л он.

— Не без того́, те́ля!² Ну́-ка, гребни́ до́бре! Ду́й во всю

¹ Мо́л — сооруже́ние в ви́де ва́ла, защища́ющего суда́ от ве́тра и волн

² Те́ля — теле́нок.

сйлу!.. Хорошó ты, брат, заработал! Полдéла сдéлали. Тепéрь тóлько у чертéй мéжду глаз проплыть, а там — получáй дéнежки и ступáй к своéй Мáшке. Мáшка-то есть у тебá? Эй, дитятко?

— Н-нétу! — Гаврýла старáлся во всю сйлу, работая грúдью, как мехáми, и рукáми, как стальными пружинами. Водá под лóдкой рокотáла, и голубáя полосá за кормой тепéрь былá шйре. Гаврýла весь облился пóтом, но продолжáл грести во всю сйлу. Пережив двáжды в эту ночь такой страх, он тепéрь боялся пережить егó в трéтий раз и желáл одного: скорéй кóнчить эту проклýтую работу, сойтй на зéмлю и бежáть от этóго человекá, покá он в сáмом дéле не убйл йли не завёл егó в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чём, не противорéчить емú, дéлать всё, что велйт, и, ёсли удáстся благополúчно развязáться с ним, зáвтра же отслужйт молéбен Николáю Чудотворцу. Из егó грудй готóва былá вылиться стрáстная молитва. Но он сдёрживался, пыхтёл, как паровйк, и молчáл, исподлóбья кидáя взгляды на Челкашá.

А тот, сухóй, длинный, нагнувшийся вперёд, и похóжий на птйцу, готóвую летётъ кудá-то, смотрёл во тьму вперёд лóдки ястребйными очáми и, поводя хйщным, горбáтым нóсом, однóй рукóй цéпко держáл рúчку рулá, а другóй теребйл ус, вздрáгивавший от улыбок, кóторые кривйли егó тóнкие гúбы. Челкаш был довóлен своéй удáчей, собóй и этим пáрнем, так сйльно запуганным им и превратйвшимся в егó рабá. Он смотрёл, как старáлся Гаврýла, и емú стáло жáлко, захотéлось обóдрить егó.

— Эй! — усмехáясь, тйхо заговорйл он. — Чтó, здóрово ты перепугáлся? а?

— Н-ничегó!.. — выдохнул Гаврýла и крякнул.

— Да уж тепéрь ты не óчень навáливайся на вёсла-то. Тепéрь шабáш¹. Вот ещё тóлько однó бы мéсто пройтй... Отдохнй-ка...

Гаврýла послушно приостановйлся, вытер рукавóм рубáхи пот с лицá и снóва опустил вёсла в воду.

— Ну, гребй тйше. Чтóбы водá не разговáривала. Ворóтца однй náдо миновáть. Тйше, тйше... А то, брат, тут нарóды серьёзные... Как раз из ружья пошáлить мóгут. Такúю шйшку на лбу набьют, что и не óхнешь.

Лóдка тепéрь крáлась по водé почти совершénно без-

¹ Ш а б á ш — здесь. кóнчено.

звучно. Тóлько с вёсел кáпали голубы́е кáпли, и, когдá они пáдали в мóре, на мéсте их падéния вспыхивало не-надóлго тóже голубóе пýтнышко. Ночь становíлась всё темнée и молчаливей. Тепéрь нéбо ужé не походíло на взволнóванное мóре — тóчи расплы́лись по нём и покрь-ли егó рóвным, тяжёлым пóлогом¹, нízко опу́стившимся над водóй и неподви́жным. А мóре стáло ещё споко́йней, чернéй, сильнée пáхло тёплым, солёным зáпахом и уж не казáлось та́ким ширóким, как рáньше.

— Эх, кабы́ дождь пошёл! — прошептáл Челкáш.— Так бы мы и проéхали, как за занавéской.

Слéва и спрáва от лóдки из чёрной воды́ подня́лись ка́кие-то здáния — бáржи, неподви́жные, мрáчные и тóже чёрные. На однóй из них двíгался огóнь, ктó-то ходíл с фонарём. Мóре, глáдя их бока́, звуча́ло просíтельно и глúхо, а онí отвечáли ему́ эхом, гúлким и холóдным, тóчно спóрили, не желáя уступíть ему́ в чём-то.

— Кордо́ны!..² — чуть слы́шно шепну́л Челкáш.

С момéнта, когдá он велéл Гаврíле грестí тише, Гаврíлу снóва охвати́ло о́строе выжидáтельное напряжéние. Он весь подáлся вперёд, во тьму, и ему́ казáлось, что он растёт,— кóсти и жíлы вытягивались в нём с тупóй бóлью, головá, запóлненная однóй мýслью, болéла, кóжа на спинé вздра́гивала, а в нóги вонзáлись мáленькие, о́стрые и холóдные и́глы. Глазá ломíло от напряжённóго рас-смáтривания тьмы, из котóрой — он ждал — вот-вóт встáнет нéчто и гáркнет на них: «Сто́й, вóры!..»

Тепéрь, когдá Челкáш шепну́л «кордо́ны!», Гаврíла дро́гнул: о́страя, жгúчая мысль прошлá сквозь негó, прошлá и задéла по тóго натя́нутым нёрвам,— он хотéл крýкнуть, позвáть людéй на пóмощь к себé... Он ужé откры́л рот и привстáл немнóго на лáвке, выпятив грудь, вобрáл в неё мнóго вóздуха и откры́л рот,— но вдруг, пора́жён-ный ўжасом, удáрившим егó, как плéтью, закры́л глазá и свали́лся с лáвки.

...Впередí лóдки, далекó на горизóнте, из чёрной воды́ мóря подня́лся огрóмный о́гненно-голубóй меч, подня́лся, рассéк тьму нóчи, скользну́л своим остриём по тóчам в нéбе и лёг на грудь мóря ширóкой голубóй полосóй. Он лёг, и в пóлосу егó сия́ния из мрáка выплы́ли невидимые

¹ Пóлог — зáнавес.

² Кордо́н — отряд пограни́чной охрáны.

до той поры суда, чёрные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлечённые туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рождённого морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на всё, что поверх воды... Их такелаж¹ обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими чёрными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассёк ночь и снова лёг уже в другом направлении. И там, где он лёг, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, чёрт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблукóм сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, всё ещё боясь открыть глаза, сел на лавку и, ошупью схватив вёсла, двинул лодку.

— Тихе! Убью ведь! Ну, тихе!.. Эка дурак, чёрт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Хая... Фонарь — только и всего. Тихе вёслами!.. Кислый чёрт!.. За контрабандой² это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... — Челкаш торжествуя оглянулся кругом. — Кóнечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеростовая!..³

Гаврила молчал, грёб и, тяжело дыша, йскоса смотрел туда, где всё ещё поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блёском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз⁴

¹ Такелаж — снасти судна (пеньковые и стальные канаты, связывающие мачты).

² Контрабанда — тайный провоз товаров через границу, без уплаты установленных сборов.

³ Дубина стоеростовая — глупец, тупица.

⁴ Гипноз — здесь: бессознательное состояние, внушённое страхом.

тоскливого страха. Он грёб, как машина, и всё сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нём — он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него всё человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонёк. Он чувствовал себя великолично, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронёсся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но всё небо было обложено ими. Несмотря на то что ветер, хотя ещё лёгкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну ты, брат, очухайся¹, порá! Ишь тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле всё-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— Тó-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на вёсла, устал, поди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало ещё больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робы!² Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет³ хочешь получить, а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая вёсла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела

¹ Очухаться — очнуться, прийти в чувство.

² Не робь (правильно: не робей, робеть) — не бойся.

³ Четвертной билет — 25 рублей (четвёртая часть ста рублей).

и вздыхала,— и всё кругом было заполнено музыкальным шумом и плёском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне,— заговорил Челкаш,— придёшь ты в деревню, женишься, начнёшь землю копать, хлеб сеять, жену детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку? ¹

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая, ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звёздочками на них. Отражённые играющим морем, эти звёздочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а? — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и всё то далёкое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берёз, вётел, рябин, черёмухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке ² домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую берё! Дом бы себе сгрóхал — ну, для дома денег, полóжим, маловато...

— Это верно... для дому нехватка. У нас дóрог лés-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лóшадь как? есть?

— Лóшадь? Она и есть, да больно старá, чёрт.

— Ну, значит, лóшадь. Ха-арóшую лóшадь! Корóву... Овéc... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, гóсподи! вот уж пóжил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я то-

¹ С м а к — удовольствие.

² Ч у г у н к а — так называлась в народе железная дорога.

же понимаю толк в этом деле. Было когда-то своё гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш грёб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о её борта, еле двигалась по тёмному морю, а оно играло всё резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики¹ собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлёкся и вместо того, чтобы спрашивать парня о деревне и её делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — итог её горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? — воодушевлённо закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от неё и от забот о ней и понёсшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удалца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолёл!.. — сказал он свирёпо, — ты, может, думал, что я всё это всерьёз... Держи карман шире!

— Да чудак человек!.. — снова оробёл Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, — мно-

¹ Р е п л и к а — ответ, замечание на слова собеседника.

го! Эх, сколько несчастного народа на свете!.. Шатающихся...¹

— Садись, тюлень, в вёсла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Он опять переменялись местами, причём Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что это лодка потеряла цель, и, всё выше подбрасывая её, легко играли ею, вспыхивая под вёслами своим ласковым голубым огнём. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далёкого прошлого, отделённого от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребёнком, свою деревню, свою мать, краснощёкую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, весёлую; снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли мёда...

Челкаш чувствовал себя овёянным примиряющей ласковой струей родного воздуха, донёсшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового² крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шёлком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течёт в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.

¹ Ш а т а ю щ и х — правильно: шатающихся без дела.

² И с т о в ы й — настоящий, такой, каким и должен быть.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь, чёрт занёс!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаври́ла.

— Уста́л...

— Так тепе́рь мы, зна́чит, уж не попаде́мся с э́тим? — Гаври́ла ткнул ного́й в тюки́.

— Нет... Будь поко́ен. Сейча́с вот сдам и де́нежки по-лучу́... Н-да!

— Пять со́тен?

— Не ме́ньше.

— Это, тово́,— су́мма! Кабы́ мне, горюну́!..¹ Эх, и сы-гра́л бы я пе́сенку с ни́ми!..

— По крестья́нству?

— Ника́к бо́льше! Сейча́с бы...

И Гаври́ла полете́л на кры́льях мечты́. А Челка́ш молча́л. Усы́ у него́ обвисли, пра́вый бок, захлёстанный волна́ми, был мокр, глаза́ ввали́лись и потеря́ли блеск. Все́ хищное в его́ фигу́ре обмякло, стуше́ванное прини́женной задумчивостью, смотре́вшей да́же из скла́док его́ грязной руба́хи.

Он кру́то поверну́л ло́дку и напра́вил её к чему́-то чёрному, вы́совывавшемуся из воды́.

Не́бо сно́ва все́ покры́лось ту́чами, и посы́пался дождь, ме́лкий, тёплый, ве́село звя́кавший, па́дая на хребты́ волн.

— Стой! Ти́ше! — скомандова́л Челка́ш.

Ло́дка сту́кнулась но́сом о ко́рпус ба́рки.

— Спят, что ли, че́рти?.. — ворча́л Челка́ш, цепля́ясь багро́м за ка́кие-то верё́вки, спуска́вшиеся с бо́рта.— Трап² дава́й!.. Дождь поше́л ещё, не мог ра́ньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селка́ш э́то? — раздало́сь swéрху ла́сковое мурлы́канье.

— Ну, спуска́й трап!

— Калиме́ра, Селка́ш!³

— Спуска́й трап, копче́ный дья́вол!—взревёл Челка́ш.

— О, серды́тий прише́л сего́дня... Эло́у!

— Лезь, Гаври́ла! — обрати́лся Челка́ш к това́рищу.

В мину́ту они́ бы́ли на па́лубе, где три те́мных боро-

¹ Горю́н — несча́стный, горемы́ка.

² Трап — ле́стница, спуска́емая с бо́рта су́дна.

³ Калиме́ра, Селка́ш! (греческое) — До́брый ве́чер, Челка́ш!

данных фигуры, оживлённо болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвёртый, завернутый в длинную хламиду¹ подошёл к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги,— коротко сказал ему Челкаш.— А теперь я спать идё. Гаврила, идём! Есть хочешь?

— Спать бы...— ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплёвывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борты... Всё было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улёгся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, ещё спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полёз вверх по узкой верёвочной лестнице. В отверстие трюма² смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потёрт, но крепок, и очень шёл к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

¹ Х л а м и д а—здесь: длинная; нескладная одежда вроде плаща

² Т р ю м — помещение для грузов внутри судна, между нижней палубой и дном.

— Эй, телёнок, вставай!..— толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!..— широко улыбнулся, наконец, Гаврила.— Баарином стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а ещё раз поехал бы? а?

— Ещё?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну, ежели бы две радужных?

— Два ста рублёв, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила.— Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на вёслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зелёное море, шумно подбрасывая её на волнах, пока ещё мелких, весело бросающих в борта светлые солёные брызги. Далеко по носу лодки видна жёлтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льётся глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на всё наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны вёслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!..— подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговор.

— Вот! — сказа́л Челка́ш, протя́гивая Гаври́ле что́-то, вы́нудое из карма́на.

Гаври́ла увида́л пёстрые бума́жки, и всё в его́ глаза́х приняло́ я́ркие, ра́дужные отте́нки.

— Эх!.. А я ведь ду́мал: врал ты мне!.. Это — ско́лько?

— Пятьсо́т со́рок!

— Л-ловко!..— прошепта́л Гаври́ла, жа́дными глаза́ми провожа́я пятьсо́т со́рок, сно́ва спря́танные в карма́н.— Э-эх-ма́!.. Кабы́ э́такие де́ньги!..— И он угнетё́нно вздохну́л.

— Гульнём мы с тобо́й, парню́га! — с восхище́нием вскрикну́л Челка́ш.— Эх, хва́тим... Не ду́май! Я тебе́, брат, отде́лю... Со́рок отде́лю! а? Дово́лен? Хо́чешь, сейча́с дам?

— Ко́ли не оби́дно тебе́ — что же? Я приму́!

Гаври́ла весь трепета́л от ожида́ния, о́стро́го, соса́вшего ему́ грудь.

— Ах ты, че́ртова ку́кла! Приму́! Прими́, брат, пожа́луйста! Очень я тебя́ прошу́, прими́! Не зна́ю я, куда́ мне такую́ ку́чу де́нег дева́ть! Изба́вь ты меня́, прими́-ка, на!..

Челка́ш протяну́л Гаври́ле не́сколько бума́жек. Тот взял их дрожа́щей руко́й, бро́сил вёсла и стал прятать куда́-то за па́зуху, жа́дно сощу́рив глаза́, шу́мно втя́гивая в себя́ во́здух, то́чно пил что́-то жгу́чее. Челка́ш с насме́шливой улы́бкой погла́дывал на него́. А Гаври́ла уже́ сно́ва схвати́л вёсла и грёб не́рвно, торопли́во, то́чно пуга́ясь чего́-то и опу́стив глаза́ вниз. У него́ вздра́гивали плéчи и у́ши.

— А жа́ден ты!.. Нехорошо́... Впро́чем, что же?.. Крестья́нин...— задумчи́во сказа́л Челка́ш.

— Да ведь с де́ньгами-то что мо́жно сде́лать!..— восклицну́л Гаври́ла, вдруг весь вспыхивая стра́стным возбу́ждением. И он отрывисто, торопя́сь, то́чно догоня́я свой мы́сли и с лёту хвата́я слова́, заговорил о жи́зни в дере́вне с де́ньгами и без де́нег. Почёт, дово́льство, ве́сёлье!..

Челка́ш слу́шал его́ внима́тельно, с серьё́зным лица́м и с глаза́ми, сощу́ренными како́й-то ду́мой. По временáм он улыба́лся дово́льной улы́бкой.

— При́ехали! — прерва́л он речь Гаври́лы.

Волна́ подхвати́ла ло́дку и ловко́ ткну́ла её в песо́к.

— Ну, брат, тепе́рь ко́нчено. Ло́дку ну́жно вы́тащить

пода́льше, что́бы не смýло. Приду́т за ней. А мы с то-
бо́й — проща́й!.. Отсю́да до го́рода ве́рст во́семь. Ты что,
опя́ть в го́род верне́шься? а?

На лице́ Челкаша́ сия́ла доброду́шно-хи́трая улы́бка,
и весь он имёл вид челове́ка, задума́вшего не́что весе́ма
приятное для себя́ и неожíданное для Гаври́лы. Засу-
нув ру́ку в карма́н, он шелестёл там бума́жками.

— Нет... я... не пойду́... я...— Гаври́ла задыха́лся и
дави́лся че́м-то.

Челка́ш посмотре́л на него́.

— Что э́то тебя́ ко́рчит? — спроси́л он.

— Так...— Но лицó Гаври́лы то красне́ло, то дела-
лось се́рым, и он мя́лся на ме́сте, не то жела́я бро́ситься
на Челкаша́, не то разрыва́емый и́ным жела́нием, испол-
нить кото́рое ему́ было́ трудо́.

Челкашу́ ста́ло не по себе́ при ви́де тако́го возбуж-
де́ния в э́том па́рне. Он ждал, чем оно́ разрази́тся.

Гаври́ла нача́л как-то стра́нно сме́яться сме́хом, по-
хо́жим на рыда́ние. Голова́ его́ была́ опу́щена, выраже́-
ние его́ лица́ Челка́ш не ви́дал, сму́тно ви́дны́ бы́ли
то́лько у́ши Гаври́лы, то красне́вшие, то бледне́вшие.

— Ну тя к че́рту! — махну́л руко́й Челка́ш.— Влю-
би́лся ты в меня́, что ли? Мнё́тся, как де́вка!.. Али рас-
става́ние со мно́й то́шно? Эй, сосу́н! Говори́, что ты?
А то уйду́ я!..

— Ухо́дишь?! — звонко кри́кнул Гаври́ла.

Песча́ный и пусты́нный бе́рег дро́гнул от его́ кри́ка,
и намы́тые во́лнами мо́ря же́лтые во́лны песку́ то́чно
всколыхну́лись. Дро́гнул и Челка́ш. Вдруг Гаври́ла со-
рва́лся с своего́ ме́ста, бро́сился к нога́м Челкаша́, о́бнял
их свои́ми рука́ми и де́рнул к себе́. Челка́ш пошатну́л-
ся, гру́зно сел на песо́к и, скри́пнув зубáми, ре́зко взмах-
ну́л в во́здухе своёй дли́нной руко́й, сжа́той в кула́к. Но
он не успе́л уда́рить, остано́вленный стыдл́вым и проси́-
тельным ше́потом Гаври́лы:

— Голу́бчик!.. Дай ты мне э́ти де́ньги! Дай, Христа́
ра́ди! Что онí тебе́?.. Ве́дь в одну́ ночь — то́лько в ночь...
А мне — го́да нужны́... Дай — моли́ться за тебя́ бу́ду!
Ве́чно — в тре́х церква́х — о спасе́нии души́ твоёй!.. Ве́дь
ты их на ве́тер... а я бы — в зе́млю! Эх, дай мне их! Что
в них тебе́?.. Али тебе́ до́рого? Ночь одна́ — и богáт!
Сде́лай до́брое де́ло! Пропа́щий ве́дь ты... Нет тебе́ путí...
А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумлённый и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таранил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жадости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай, помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаёте!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И женё, и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искажённое восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного, — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободой, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила всё изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... прраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рывкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, — другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив

глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда, за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошёл прочь, по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Раз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперёд, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая чёрная туча и было темно. Волны шуршали, избегая на песок, сливаясь с ним и снова избегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешёл в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в тёплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в уху Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. дьявол это меня!.. — дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай!.. — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул

Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать.— Чего тебе ещё? Сделал своё дело... иди! Пошёл!— И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврилу не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!..— презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубашу и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову.— Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат!.. Не могу! Прости!

— Берё, говорю!..— взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму...— робко сказал Гаврилу и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождём.

— Врёшь, возьмёшь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Берё! берё! Не даром работал! Берё, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Ещё спасибо скажут, как узнают. На, берё!

Гаврилу видел, что Челкаш смеётся, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимой!..— в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь.— За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат!..— скорбно вздохнул Гаври́ла, качая головой.

Челка́ш стоял перед ним и странно улыба́лся, а тряпка на его́ головѣ, понемно́гу красне́я, становилась похо́жей на турецкую фэску.

Дождь лил, как из ведра́. Мо́ре глу́хо ропта́ло, во́лны би́лись о бе́рег бе́шено и гне́вно.

Два челове́ка помолча́ли.

— Ну, проща́й! — насмешливо сказа́л Челка́ш, пуска́ясь в путь.

Он шата́лся, у него́ дрожа́ли но́ги, и он так странно держа́л го́лову, то́чно боя́лся потеря́ть её.

— Прости́, брат!..— ещё раз попроси́л Гаври́ла.

— Ничего́! — холо́дно отве́тил Челка́ш, пуска́ясь в путь.

Он поше́л, пошатыва́ясь и всё подде́рживая го́лову ладо́нью ле́вой ру́ки, а пра́вой т́ихо де́ргая свой бу́рый ус.

Гаври́ла смотре́л ему́ вслед до поры́, пока́ он не исче́з в дожде́, всё гу́ще ли́вшем из туч то́нкими, бесконече́ными стру́йками и оку́тывавшем степь непроница́емой стальнóго цве́та мглой.

Пото́м Гаври́ла снял свой мо́крый карту́з, перекрести́лся, посмотре́л на де́ньги, зажа́тые в ладо́ни, свободно и глубо́ко вздохну́л, спря́тал их за па́зуху и широ́кими, твёрдыми шага́ми поше́л бе́регом в сто́рону, противополо́жную той, где скры́лся Челка́ш.

Мо́ре вы́ло, швыря́ло больш́ие, тяжёлые во́лны на прибре́жный песо́к, разбива́я их в бры́зги и пёну. Дождь рети́во сек во́ду и зёмлю... ве́тер реве́л... Всё круго́м напóлнялось во́ем, ре́вом, гу́лом... За дожде́м не ви́дно бы́ло ни мо́ря, ни не́ба.

Скóро дождь и бры́зги волн сме́ли кра́сное пятно́ на том ме́сте, где лежа́л Челка́ш, сме́ли следы́ Челкаша́ и следы́ молодóго па́рня на прибре́жном песке́... И на пусты́нном бере́гу мо́ря не оста́лось ничего́ в воспомина́ние о ма́ленькой дра́ме, разыгра́вшейся ме́жду двумя́ людья́ми.

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ¹

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лёжа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, чёрными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — весёлые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и чёрные, были распущены, ветер, тёплый и лёгкий, играя ими, звякал монетами, вплетёнными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили всё дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их всё прекраснее.

¹ Печатается с сокращением.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто¹, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Ещё и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-чёрные или коричневые. Между ними ласково блестели тёмно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звёзд. Всё это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как бы остановилось в своём росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошёл с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло её пополам, чёрные когда-то глаза были тусклы и слезились. Её сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу, — ответил я ей.

— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны...² Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна³ возшла. Её диск³ был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр⁴ этой степи, которая на своём веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков; пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

— Смотри, вон идёт Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестёр, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

¹ Контральто — мягкий, низкий голос.

² Демон — по верованиям религиозных людей, злой дух.

³ Диск — круг.

⁴ Из недр (недра) — из глубины.

— Никого́ нет там! — сказа́л я.

— Ты слеп больше меня, стару́хи. Смотри́ — вон, тёмный, бежи́т стёпью!

Я посмотре́л ещё и сно́ва не ви́дел ничего́, кро́ме те́ни.

— Это тени! Почему́ ты зовёшь её Ла́рра?

— Потому́ что это — он. Он уже́ стал тепе́рь как тень,— пора́! Он живёт ты́сячи лет, со́лнце вы́сушило его́ те́ло, кро́вь и ко́сти, и ве́тер распыли́л их. Вот что мо́жет сде́лать бог с челове́ком за го́рдость!..

— Расскажи́ мне, как это́ было! — попроси́л я стару́ху, чу́вствуя впереди́ одну́ из сла́вных ска́зок, сло́женных в сте́пях.

И она́ расска́зала мне э́ту ска́зку,

«Мно́гие ты́сячи лет прошли́ с той поры́, когда́ случи́лось э́то. Далеко́ за мо́рем, на восхо́д со́лнца, есть страна́ большо́й реки́, в той стране́ ка́ждый древе́сный лист и сте́бель травы́ даю́т сто́лько те́ни, ско́лько ну́жно челове́ку, что́бы укры́ться в ней от со́лнца, жесто́ко жа́ркого там.

«Вот кака́я ще́драя земля́ в той стране́!

«Там жи́ло могу́чее пле́мя люде́й, они́ пасли́ стада́ и на охóту за зве́рями тра́тили свою́ си́лу и му́жество, пирова́ли по́сле охóты, пе́ли пе́сни и игра́ли с де́вушками.

«Одна́жды, во вре́мя пи́ра, одну́ из них, черноволо́сую и не́жную, как ночь, унёс орёл, спустившись с не́ба. Стре́лы, пу́щенные в него́ мужчи́нами, упали́, жа́лкие, о́братно на зе́млю. Тогда́ пошли́ иска́ть де́вушку, но — не нашли́ её. И забы́ли о ней, как забыва́ют обо всём на землё́».

Стару́ха вздохну́ла и замолча́ла. Её скрипучи́й го́лос звуча́л так, как бу́дто э́то ропта́ли¹ все забы́тые века́, вопло́тившись в её груди́ теня́ми воспомина́ний. Мо́ре т́ихо вто́рило нача́лу одной́ из дре́вних леген́д, кото́рые, мо́жет быть, созда́лись на его́ берега́х.

«Но че́рез два́дцать лет она́ сама́ пришла́, изму́ченная, иссо́хшая, а с не́ю был ю́ноша, краси́вый и си́ль-

¹ Ропта́ть — выража́ть недово́льство, жа́лобу.

пый, как сама она двадцать лет назад. И, когда её спросили, где была она, она рассказала, что орёл унёс её в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

«Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперённой стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут¹, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

«— Ему нет места среди нас! Пусть идёт, куда хочет.

«Он засмеялся и пошёл, куда захотелось ему, — к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошёл к ней и, подойдя, обнял её. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил её, и, когда она упала, встал ногой на её грудь, так, что из её уст кровь брызнула к небу; девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

«Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на неё, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая на неё кару². Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, найдя, что убить сейчас же — слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрёкот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны,

¹ Ч т и т ь — почитать, оказывать честь, почёт.

² К а р а — наказание.

ра́ньше крова́во-кра́сный, бледне́л, удаля́ясь от земли, бледне́л и всё оби́льнее лил на степь голу́боватую мглу...

«И вот о́ни собрали́сь, что́бы придума́ть казнь, досто́йную преступле́ния... Хотели́ разорва́ть его́ лоша́дьми — и э́то ка́залось ма́ло им; ду́мали пусти́ть в него́ всем по стреле́, но отве́ргли и э́то; предлага́ли сжечь его́, но дым ко́стра не позво́лил бы ви́деть его́ муче́ний; предлага́ли мно́го — и не находи́ли ниче́го насто́лько хоро́шего, что́бы понра́вилось всем. А его́ ма́ть стоя́ла перед ни́ми на коле́нях и молча́ла, не находя́ ни слёз, ни слов, что́бы умоля́ть о поща́де. До́лго говори́ли о́ни, и вот о́дин мудре́ц сказа́л, подума́в до́лго:

«— Спро́сим его́, поче́му он сде́лал э́то?

«Спроси́ли его́ об э́том. Он сказа́л:

«— Развя́жите меня́! Я не бу́ду говори́ть связа́нный!

«А ко́гда развя́зали его́, он спроси́л:

«— Что вам ну́жно? — спроси́л так, то́чно о́ни бы́ли раба́ми...

«— Ты слы́шал... — сказа́л мудре́ц.

«— За́чем я бу́ду объясня́ть вам мои́ поста́пки?

«— Что́б быть по́нятым на́ми. Ты, го́рдый, слу́шай! Все́ равно́, ты умре́шь ведь... Дай же нам по́нять то, что ты сде́лал. Мы оста́емся жить, и нам по́лезно знать бо́льше, чем мы зна́ем...

«— Хоро́шо, я скажу́, хотя́ я, мо́жет быть, сам неверно́ понима́ю то, что случи́лось. Я уби́л её пото́му, мне ка́жется, — что меня́ оттолкну́ла она́... А мне бы́ло ну́жно её.

«— Но она́ не твоя́! — сказа́ли ему́.

«— Ра́зве вы пользуетесь то́лько своим? Я ви́жу, что ка́ждый челове́к имее́т то́лько речь, ру́ки и но́ги... а владе́ет он животи́ными, же́нщинами, земле́й... и мно́гим ещё...

«Ему́ сказа́ли на э́то, что за всё, что челове́к берёт, он пла́тит собо́й: своим умом и си́лой, ино́гда — жи́знию. А он отве́чал, что он хо́чет сохра́нить себя́ це́лым.

«До́лго говори́ли с ним и, на́конец, уви́дели, что он счита́ет себя́ пе́рвым на земле́ и, кро́ме себя́, не ви́дит ниче́го. Всем да́же стра́шно ста́ло, ко́гда по́няли, на ка́кое одино́чество он обрека́л себя́. У него́ не́ было ни пле́мени, ни ма́тери, ни скота́, ни же́ны, и он не хоте́л ниче́го э́того.

«Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили,— тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

«— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нём самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

«И тут произошло великое. Грянул гром с небес,— хотя на них не было туч. Это силы небесные подтвердили речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон,— юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком... А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек — всё, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хитер, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не один десяток годов. Но вот однажды он подошёл близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показав, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

«— Не троньте его! Он хочет умереть!

«И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и всё искал чего-то на своей груди, хватаясь за неё руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомлённый, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об неё. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

«— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.

«И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе чёрными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков — ничего. И всё ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и её голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на неё. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко её. Конiec рассказа она велa таким возвышенным, угрожающим тоном, а всё-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели,— странно запели. Сначала раздался контральто,— он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый всё лился впередí его...— третий, четвёртый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из неё, заглушали её и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

...С моря поднималась туча — чёрная, тяжёлая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С её вершины срывались клочья облаков, неслись вперёд её и гасили звёзды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептались и вздыхали. Глубоко в степи выла собака-

ка... Вóздух раздража́л нёрвы стра́нным за́пахом, щеко́тавшим нóздри. От облако́в па́дали на зéмлю густы́е ста́и тенéй и ползл́и по ней, ползл́и, исчеза́ли, явля́лись сно́ва... На ме́сте луны́ оста́лось то́лько му́тное опа́ловое пятно́, иногда́ его́ совсе́м закрыва́л си́зый клочо́к о́блака. И в степно́й дали́, тепе́рь уже́ че́рной и стра́шной, как бы притаивше́йся, скрыва́вшей в себе́ что́-то, вспыхивали ма́ленькие голу́бые огоньки́. То там, то тут о́ни на миг явля́лись и га́сли, то́чно не́сколько люде́й, рассы́павшихся по степи́ дале́ко друг от дру́га, иска́ли в ней что́-то, зажига́я спички́, кото́рые ве́тер то́тчас же гаси́л. Это бы́ли о́чень стра́нные голу́бые язы́ки огня́, намека́вшие на что́-то сказа́зочное.

— Ви́дишь ты и́скры? — спроси́ла меня́ Изерги́ль.

— Вон те, голу́бые? — ука́зывая её на степь, сказа́л я.

— Голу́бые? Да, это о́ни... Зна́чит, лета́ют все́-таки! Ну-ну́... Я уж вот не ви́жу их бо́льше. Не могу́ я тепе́рь мно́гого ви́деть.

— Отку́да э́ти и́скры? — спроси́л я стару́ху.

Я слы́шал кое-что́ ра́ньше о происхожде́нии э́тих искр, но мне хоте́лось послу́шать, как расска́жет о том же ста́рая Изерги́ль.

— Э́ти и́скры от горя́щего се́рдца Да́нко. Бы́ло на све́те се́рдце, кото́рое одна́жды вспыхну́ло огнём... И вот от него́ э́ти и́скры. Я расскажу́ тебе́ про э́то... То́же ста́рая сказа́зка... Ста́рое, все́ ста́рое! Ви́дишь ты, ско́лько в стари́не всего́?.. А тепе́рь вот нет ниче́го тако́го — ни дел, ни люде́й, ни сказа́зок таки́х, как в стари́ну... Почему́?.. Ну-ка, скажи́! Не ска́жешь... Что ты зна́ешь? Что все вы зна́ете, молодые́? Эхе-хе!.. Смотре́ли бы в стари́ну зор́ко — там все отга́дки найдутся... А вот вы не смóтрите и не уме́ете жить отто́го... Я не ви́жу ра́зве жизнь? Ох, все́ ви́жу, хоть и пло́хи мои́ глаза́! И ви́жу я, что не живу́т лю́ди, а все́ примеря́ются, примеря́ются и кладу́т на э́то всю жизнь. И ко́гда обвору́ют са́ми себя́, истра́тив вре́мя, то начну́т пла́каться на судьбу́. Что же тут — судьба́? Ка́ждый сам себе́ судьба́! Все́яких люде́й я ны́нче ви́жу, а вот си́льных нет! Где ж о́ни?.. И краса́вцев стано́вится все́ ме́ньше.

Стару́ха задума́лась о том, куда́ дева́лись из жи́зни си́льные и краси́вые лю́ди, и, ду́мая, осма́тривала те́мную степь, как бы ища́ в ней отве́та.

Я ждал её рассказа и молчал, боясь, что если спрошу её о чём-либо, она опять отвлечётся в сторону. И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трёх сторон таборы¹ этих людей, а с четвертой — была степь. Были это весёлые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжёлая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — вперёд, — там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днём, в сером сумраке, и ещё плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днём и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А ещё страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были всё-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы², и коли бы умерли они, то пропали бы с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали

¹ Табор — здесь: поселение, стоянка.

² Заветы — наставления, советы отцов и дедов.

вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди все сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос её, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

«— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — всё на свете имеет конец! Идёмте! Ну! Гей!..

«Посмотрели на него и увидели, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

«— Веди ты нас! — сказали они.

«Тогда он повёл...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все гу-

ше становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Дánко, говоря, что напрáсно он, молодóй и неóпытный, повёл их куда-то. А он шёл впередí их и был бодр и ясен.

«Но одна́жды гроза́ грянула над лéсом, зашепта́ли деревья́ глу́хо, грóзно. И ста́ло тогда́ в лесу́ так темно́, то́чно в нём собра́лись сра́зу все но́чи, ско́лько их было́ на све́те с той поры́, как он роди́лся. Шли ма́ленькие лю́ди ме́жду больш́их дере́вьев и в грóзном шу́ме мо́лний, шли о́ни, и, кача́ясь, велика́ны-дере́вья скри́пели и гуде́ли серд́итые пёсны, а мо́лнии, лета́я над верши́нами лéса, освеща́ли его́ на мину́тку си́ним, холо́дным огнём и исчеза́ли так же бы́стро, как явля́лись, пуга́я люде́й. И дере́вья, освещённые холо́дным огнём мо́лний, ка́зались живы́ми, простира́ющими вокру́г люде́й, уходивших из плéна тьмы, коря́вые, дли́нные ру́ки, сплетая́ их в густу́ю сеть, пыта́ясь остано́вить люде́й. А из тьмы ветве́й смотре́ло на идущих что́-то стра́шное, те́мное и холо́дное. Это был тру́дный путь, и лю́ди, утомлённые им, па́ли ду́хом. Но им сты́дно было́ созна́ться в бесси́лии, и вот о́ни в зло́бе и гнёве обру́шились на Дánко, челове́ка, кото́рый шёл впередí их. И ста́ли о́ни упрека́ть его́ в неуме́нии управля́ть ими,— вот как!

«Остано́вились о́ни и под торже́ствующий шум лéса, среди́ дрожа́щей тьмы, уста́лые и злые, ста́ли суди́ть Дánко.

«— Ты,— сказа́ли о́ни,— ничто́жный и вре́дный челове́к для нас! Ты повёл нас и утоми́л, и за э́то ты поги́бнешь!

«— Вы сказа́ли: «Веди́!» — и я повёл! — кри́кнул Дánко, становя́сь прот́ив них гру́дью.— Во мне есть му́жество вести́, вот потому́ я повёл вас! А вы? Что сде́лали вы в по́мощь себе́? Вы то́лько шли и не уме́ли сохрани́ть си́лы на путь бо́лее до́лгий! Вы то́лько шли, шли, как ста́до ове́ц!

«Но э́ти слова́ разъя́рили их ещё́ бо́лее.

«— Ты умрёшь! Ты умрёшь! — реве́ли о́ни.

«А лес всё гудёл и гудёл, вто́ря их кри́кам, и мо́лнии разрыва́ли тьму в кло́чья. Дánко смотре́л на тех, ра́ди кото́рых он понёс труд, и ви́дел, что о́ни — как зве́ри. Мнóго люде́й стоя́ло вокру́г него́, но не́ было на лица́х их благо́родства, и нельзя́ было́ ему́ жда́ть поща́ды от них. Тогда́ и в его́ се́рдце вски́пело́ него́дование́,

но от жáлости к лю́дям онó погáсло. Он любíл люде́й и думáл, что, мо́жет быть, без него́ онí погíбнут. И вот его́ сёрдце вспíхнуло огнём желáния спасти́ их, вы́вести на лёгкий путь, и тогда́ в его́ очáх засверкáли лучи́ тогó могúчего о́гня... А онí, увидáв это, подумáли, что он расви́репёл, отчего́ так я́рко и разгорéлись о́чи, и онí насторожи́лись, как во́лки, ожида́я, что он бу́дет боро́ться с ни́ми, и ста́ли плотнее́ окружа́ть его́, что́бы лёгче́ им было́ схватíть и уби́ть Дáнко. А он уже́ по́нял их думу́, оттого́ ещё́ я́рче загорéлось в нём сёрдце, íбо э́та их думá родила́ в нём тоску́.

«А лес всё пел свою́ мра́чную пёсню, и гром гремёл, и лил дождь...

«— Что сде́лаю я для люде́й?! — сильнее́ гро́ма кри́кнул Дáнко.

«И вдруг он разорва́л рука́ми себе́ грудь и вы́рвал из неё своё́ сёрдце и высо́ко по́днял его́ над голо́вой.

«Онó пыла́ло так я́рко, как со́лнце, и я́рче со́лнца, и весь лес замолча́л, освещённый э́тим фáкелом вели́кой любви́ к лю́дям, а тьма разлетéлась от све́та его́ и там, глубо́ко в лесу́, дрожа́щая, па́ла в гнило́й зев боло́та. Лю́ди же, изумлённые, ста́ли как ка́мни.

«— Идём! — кри́кнул Дáнко и бро́сился впе́рёд на своё́ ме́сто, высо́ко держа́ горя́щее сёрдце́ и освеща́я им путь лю́дям.

«Онí бро́сились за ним, очаро́ванные. Тогда́ лес снова́ зашумёл, удивлённо кача́я верши́нами, но его́ шум был заглуше́н то́потом бегу́щих люде́й. Все бежа́ли бы́стро и сме́ло, увлека́емые чуде́сным зре́лищем горя́щего сёрдца́. И тепе́рь гíбли, но гíбли без жа́лоб и слёз. А Дáнко всё́ был впе́редí, и сёрдце́ его́ всё́ пыла́ло, пы́лало!

«И вот вдруг лес расступíлся перед ним, расступíлся и оста́лся сза́ди, плóтный и немóй, а Дáнко и все те лю́ди сра́зу окуну́лись в мо́ре со́лнечного́ све́та и чýстого во́здуха, промýтого дожде́м. Гроза́ была́ — там, сза́ди них, над ле́сом, а тут сия́ло со́лнце, вздыхáла степь, блестя́ла трава́ в брилья́нтах дождя́ и зóлотом сверка́ла река́... Был ве́чер, и от луче́й заката́ река́ казáлась кра́сной, как та кровь, что б́ила горя́чей струёй из разо́рванной груди́ Дáнко.

«Кíнул взор впе́рёд себя́ на ширь стéпи го́рдый смельча́к Дáнко,— кíнул он ра́достный взор на сво-



— Идём! — крикнул Дáнко и брósился вперёд... высоко держа горящее
сёрдце...

К стр. 96

бóдную зéмлю и засмеялся гóрдо. А потóм упáл и — умер.

«Люди же, рáдостные и пóлные надежд, не замéтили смéрти егó и не видáли, что ещё пылáет рядом с трúпом Дáнко егó смéлое сéрдце. Тóлько одiн осторóжный человек замéтил éто и, боясь чегó-то, наступи́л на гóрдое сéрдце ногóй... И вот оно́, рассыпавшись в iскры, угáсло...»

— Вот откúда они́, голубы́е iскры стéпи, что являю́тся перед грозóй!

Тепéрь, когдá старúха кóнчила свою́ красiвую скáзку, в степи́ стáло стрáшно тiхо, тóчно и она́ была́ поражéна сiлой смельчакá Дáнко, котóрый сжéг для людéй своё сéрдце и умер, не прося́ у них ничегó в нагрáду себе́. Старúха дремáла. Я смотре́л на неё и думáл: «Скóлько ещё скáзок и воспсминáний остáлось в её пáмяти?» И думáл о вели́ком горящем сéрдце Дáнко и о челове́ческой фанта́зии, созда́вшей стóлько красiвых и сiльных легенд.

Дúнул вéтер и обнажи́л из-под лохмóтьев сухúю грудь старúхи Изерги́ль, засыпáвшей всё крéпче Я прикрýл её стáрое тéло и сам лёг на зéмлю óколо́ неё. В степи́ было́ тiхо и темнó. По нéбу всё ползли́ тучи, мéдленно, скúчно... Мóре шумéло глúхо и печáльно.

1895

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Море огромное, лениво вздыхающее у берега,— уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков¹, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звёзд. Кажется, что небо всё ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чём шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом², резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры³ их округлились, одётые тёплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали чёрные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный⁴ плеск воды и вздохи пены,— все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, ещё скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!..— тихо вздыхает Надыр-Рагим-

¹ Перистые облака — тонкие облака, похожие на перья.

² Норд-ост — северо-восточный ветер.

³ Контур — очертание.

⁴ Немолчный — незатихающий, всё время шумящий.

Оглы, старьй крымскій чабан¹, высóкий, седóй, сожжён-ный ю́жным солнцем, сухой и мóдрый старик.

Мы с ним лежим на пескё у громаднóго камня, оторвáвшегося от роднóй горы, одётого тёнью, порóсшего мхом,— у камня печáльного, хмúрого. На тот бок егó, котóрый обращён к мóрю, вóлны набросáли тины, водорослей, и обвёшанный ими кáмень кáжется привязанным к узкой песчанóй полóске, отделяющей мóре от гор. Плáмя нашёго кострá освещáет егó со стороны, обращённой к горё, онó вздрáгивает, и по старóму камню, изрёзанному чáстой сётью глубóких трёщин, бéгают тэни.

Мы с Рагíмом вáрим ухú из тóлько что наловленной ры́бы и óба нахóдимся в том настроёнии, когдá всё кáжется прозрачным, одухотворённым², позволяющим проникáть в себя, когдá на сёрдце так чíсто, легкó, и нет иных желáний, крóме желáния думáть.

А мóре лáстится³ к бёрегу, и вóлны звучáт так лáсково, тóчно прóсят пустить их погреться к кострú. Иногдá в óбщей гармóнии⁴ плёска слы́шится бóлее повы́шенная и шаловливая нóта — ёто однá из волн, посмелее, подползлá б́лиже к нам.

Рагíм лежит грúдьё на пескё, головóй к мóрю, и вдúмчиво смóтрит в мýтную даль, оперши́сь локтями и положив гóлову на ладóни. Мохнáтая барáнья шáпка съехала е́му на заты́лок, с мóря вéет свёжестью в егó высóкий лоб, весь в мёлких морщи́нах. Он философствует, не справля́ясь, слúшаю ли я егó, тóчно он говорит с мóрем:

— Вёрный бóгу человек идёт в рай. А котóрый не слúжит бóгу и прорóку? Мóжет, он — вот в ётой пéне... И те серёбряные пýтна на водё, мóжет, он же... кто зnáет?

Тёмное, могúче размахнúвшееся мóре светлéет, мeстáми на нём появляются небрёжно брóшенные б́лики⁵ лунý. Онá ужé выплыла из-за мохнáтых верши́н гор и тепёрь задумчиво льёт свой свет на мóре, т́ихо вздыхáющее ей навстрéчу, на бёрег и кáмень, у котóрого мы лежим.

¹ Ч а б а н — пастух.

² О д у х о т в о р ё н н ы й — как бы живóй, понимающий.

³ Л á с т и т ь с я — ласкáться.

⁴ Г а р м ó н и я — приятное сочетáние звуков.

⁵ Б л í к и — свётлые пýтна.

— Рагім!.. Расскажи сказку...— прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагім, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе всё уж рассказывал... Больше не знаю...— Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагім.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом¹, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I

«Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

«Высоко в небе сияло солнце, а горы зноём дышали в небо, и бились волны вниз о камень...

«А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

«Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито вой.

«Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокol с разбитой грудью, в крови на перьях...

«С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твёрдый камень...

«Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

«Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи:

«— Что, умираешь?

«— Да, умираю! — ответил Сокol, вздохнув глубоко.— Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

«— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

«Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни².

¹ Речитатив — напевная речь.

² Бредни — странные, нелепые мысли.

«И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет...»¹»

«Но Сокol смелый вдруг встрепнулся², привстал немного и по ущелью повёл очами.

«Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном и пахло гнилью.

«И крикнул Сокol с тоской и болью, собрав все силы:

«— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди, и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

«А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

«И предложил он свободной птице: — А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и проживёшь ещё немного в твоей стихии³.

«И дрогнул Сокol и, гордо крикнув, пошёл к обрыву, скользя когтями по слези камня.

«И подошёл он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

«И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

«Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.

«А волны моря с печальным рёвом о камень бились... И трупа птицы не видно было в морском пространстве...

II

«В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

«И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

«— А что он видел, умерший Сокol, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

¹ Все прахом будет — всё превратится в ничто, в пыль.

² Встрепнуться — оживиться.

³ Стихия — здесь: воздух, небо.

«Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прынул¹ в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

«Рождённый ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

«— Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живёт я.

«И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

«Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

«В их львином рёве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поём мы славу!

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячее, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

«Безумству храбрых поём мы песню!..»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде всё больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котёл тихо закипает.

Одна из волн игриво вскалывается на берег и, вызывая шумя, ползёт к голове Раги́ма.

— Куда идёшь?.. Пшла! — машет на неё Раги́м рукой, и она покорно скатывается обратно в море,

¹ Прынуть — подняться.

Мне нима́ло не смешна́ и не страшна́ вы́ходка Раги́-
ма, одухотворяющего во́лны. Всё круго́м смóтрит стра́н-
но живо, мягко, ла́сково. Мо́ре так внуши́тельно споко́й-
но, и чу́вствуется, что в све́жем дыха́нии его́ на го́ры,
ещё не осты́вшие от дневно́го зно́я, скры́то мно́го мо́щ-
ной, сде́ржанной си́лы. По тёмно-си́нему не́бу золоти́м
узо́ром звёзд напи́сано не́что торже́ственное, чару́ющее¹
ду́шу, смуща́ющее ум сла́дким ожида́нием како́го-то
открове́ния.

Всё дре́млет, но дре́млет напря́женно чу́тко, и ка́-
жется, что вот в сле́дующую секу́нду всё востре́пене́тся и
зазвучи́т в стро́йной гармо́нии неизъясни́мо сла́дких
звучо́в. Эти зву́ки расска́жут про та́йны ми́ра, разъяснят
их уму́, а пото́м погасят его́, как при́зрачный огонёк, и
увлеку́т с собо́й ду́шу вы́соко в тёмно-си́нюю бе́здну,
отку́да навстре́чу ей трéпетные узо́ры звёзд то́же зазвуча́т
дивной му́зыкой открове́ния...

1895

¹ Ч а р у ю щ и й — привлека́ющий.

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ¹

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет² Буревестник, чёрной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая³ к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся⁴ над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары⁵ тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин⁶ робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром

¹ Буревестник — большая морская птица.

² Реять — свободно и плавно летать.

³ Взмывать — быстро и высоко взлетать.

⁴ Метаться — бросаться из стороны в сторону.

⁵ Гагара — крупная водоплавающая птица.

⁶ Пингвин — большая нелетающая морская птица (в тексте ударение подчинено ритму фразы).

споря. Вот охватывает вѣтер стаи волн объятъем крѣпким и бросает их с размаху в дѣкой злобе на утѣсы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревѣстник с криком реет, чѣрной мѣлнии подобный, как стрелѣ пронзает тучи, пену волн крылом срываѣет.

Вот он носится, как дѣмон,— гордый, чѣрный дѣмон бѣри,— и смеѣтся, и рыдает... Он над тучами смеѣтся, он от радости рыдает!

В гнѣве грома,— чѣткий дѣмон,— он давно усталость слышит, он увѣрен, что не скроют тучи солнца,— нет, не скроют!

Вѣтер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бѣздной моря. Море ловит стрѣлы мѣлний и в своей пучинѣ ¹ гасит. Точно огненные змеи, выются в море, исчезаѣя, отражѣнья ѣтих мѣлний.

— Бѣря! Скоро грянет бѣря!

Ѣто смѣлый Буревѣстник гордо реет мѣжду мѣлний над ревущим гнѣвно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнѣе грянет бѣря!..

1901

¹ Пучина — бѣдна моря.

МАТЬ¹

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Ка́ждый день над рабóчей слобóдкой², в ды́мном, ма́сляном во́здухе, дрожа́л и ревёл фаб́ричный гудóк, и, послу́шные зóву, из ма́леньких се́рых домо́в выбега́ли на у́лицу, то́чно испуганные таракáны, угрю́мые лю́ди, не успе́вшие освежи́ть сном свой му́скулы. В холо́дном сýмраке о́ни шли по немощёной у́лице к вы́соким ка́менным клéткам фа́брики, она́ с равноду́шной уве́ренностью ждала́ их, освеща́я грязную доро́гу десятками жи́рных квадра́тных глаз. Грязь чмо́кала под нога́ми. Раздава́лись хри́плые восклицáния со́нных голосо́в, гру́бая ру́гань зло рвала́ во́здух, а встрéчу лю́дям плы́ли иные зву́ки — тяжёлая возня́ машин, ворча́ние па́ра. Угрю́мо и стро́го мая́чили³ вы́сокие чёрные тру́бы, поднимáясь над слобóдкой, как то́лстые па́лки.

Ве́чером, когда́ сади́лось со́лнце и на стéклах домо́в устáло блестéли его́ кра́сные лучи́,— фа́брика выки́дывала люде́й из своих ка́менных недр, слóвно отрабо́танный шла́к⁴, и о́ни сно́ва шли по у́лицам, закопчённые, с

¹ Ромáн печáтается в отрывках.

² Слобóдка — пригородный посёлок.

³ Мая́чить — видне́ться вдали́.

⁴ Шлак — оста́ток от сжига́ния твёрдого то́плива.

чёрными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость,— на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал ещё шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в своё лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодёжь за её равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать — до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита — и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея женской зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров,— говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодёжь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомлённые трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди из-за пустяков бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка — убийством.

В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей¹ злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с

¹ Подстерегать — тайком выжидать и выслуживать, на кого бы напасть, обрушиться.

этою болѣзнью души, наслѣдуя её от отцов, и она чёрною тѣнью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцѣльной жестокостью.

По праздникам молодѣжь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесёнными товарищам ударами, или оскорблённая, в гнѣве или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчужденно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе тѣмным ручьём потечёт сердитый рев гудка, разбудить их для работы.

Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением, — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желанія попытаться изменить её.

Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя вниманіе просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе лёгкий, внѣшний интерес рассказами о мѣстах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незамѣтными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чём же разговаривать?

Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздраженіе, у других смутную тревогу, третьих беспокоила лёгкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

Замѣтив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчѣтным опасеніем. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нару-

шит её уныло правильный ход, хотя тяжёлый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнёт.

От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан...

Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умира́л...

III

...Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем вездё в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Третью дома занимала кухня и отгороженная от неё тонкой переборкой¹ маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу её — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нём маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и всё.

Павел сделал всё, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадрили и польку², по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога³, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну что, весело тебе было вчера?

Он ответил с угрюмым раздражением:

— Тоска зелёная! Я лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружьё.

¹ Переборка — лёгкая перегородка.

² Кадриль и полька — танцы.

³ Изжога — болезненное ощущение жжения в груди (в пищеводе).

Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги¹ всех: реже посещал вечеринки и хотя, по праздникам, куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят всё более серьёзно и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосёт болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставляя его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын её становится не похожим на фабричную молодёжь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из тёмного потока жизни,— это вызвало в душе её чувство смутного опасения.

— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда.

— Нет, я здоров! — отвечал он.

— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.

Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал её.

Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с течением времени сын говорит всё меньше, и в то же время она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для неё грубые и резкие выражения — выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя её внимание: он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в от-

¹ Торная дорога — здесь: жизнь, привычная для большинства.

ношении к матери было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить её труд. Никто в слободе не делал этого...

Однажды он принёс и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идёт в Эммаус!¹ — объяснил Пáвeл.

Матери понравилась картина, но она подумала:

«Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Всё больше становилось книг на полке, красиво сделанной Пáвлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид.

Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда вдруг обращался к ней ласково:

— Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьёзное и крепкое.

Но росла её тревога. Не становясь от времени яснее, она всё более остро щекотала сердце предчувствием чего-то необычного. Порой у матери являлось недовольство сыном, она думала:

«Все люди — как люди, а он — как монах. Уж очень строг. Не по годам это...»

Иногда она думала:

«Может, он девицу себе завёл какую-нибудь?»

Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти весь.

Так шли недели, месяцы, и незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений, всё возрастающих.

IV

Однажды после ужина Пáвeл опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и,

¹ Христос идёт в Эммаус. — Об этом рассказывается в евангелии — книге сказаний о Христе. Эммаус — селение в древней Палестине.

выйдя из кúхни, осторо́жно подошла́ к нему́. Он по́днял го́лову, вопро́сительно взгляну́л ей в лицо́.

— Ничего́, Па́ша, э́то я так! — поспе́шно сказа́ла она́ и ушла́, смущённо дви́гая бровя́ми. Но, постоя́в среди́ кúхни мину́ту неподви́жно, задумчи́вая, озабо́ченная, она́ чи́сто вы́мыла ру́ки и сно́ва вы́шла к сыну́.

— Хочу́ я спроси́ть тебя́, — тихо́нько сказа́ла она́, — что ты всё чита́ешь?

Он сложи́л кни́жку.

— Ты — сядь, мама́ша...

Ма́ть гру́зно опу́стилась ря́дом с ним и вы́прямилась, насто́рожилась, ожида́я чего́-то ва́жного.

Не гля́дя на неё, негро́мко и поче́му-то о́чень суро́во, Па́вел заговори́л:

— Я чита́ю запре́щенные кни́ги. Их запре́щают чита́ть потому́, что о́ни гово́рят пра́вду о на́шей, рабо́чей жи́зни... О́ни печа́таются тихо́нько, та́йно, и е́сли их у меня́ найду́т — меня́ поса́дят в тюрму́, — в тюрму́ за то, что я хочу́ знать пра́вду. Поня́л?

Ей вдруг ста́ло тру́дно дыша́ть. Широко́ открыв гла́за, она́ смотре́ла на сы́на, он каза́лся ей чу́ждым, у него́ был друго́й го́лос — ни́же, гу́ще и звуча́нее. Он щипа́л па́льцами то́нкие, пуши́стые усы́ и стра́нно, исподло́бья смотре́л куда́-то в у́гол. Ей ста́ло стра́шно за сы́на и жа́лко его́.

— За́чем же ты э́то, Па́ша? — проговори́ла она́.

Он по́днял го́лову, взгляну́л на неё и негро́мко, споко́йно отве́тил:

— Хочу́ знать пра́вду.

Го́лос его́ звуча́л тихо, но твёрдо, гла́за блестя́ли упря́мо. Она́ се́рдцем поня́ла, что сын её обре́к себя́ на-всегда́ чему́-то та́йному и стра́шному. Всё в жи́зни каза́лось ей неизбе́жным, она́ приви́кла подчини́ться не ду́мая и тепе́рь то́лько запла́кала тихо́нько, не находя́ слов в се́рдце, сжа́том го́рем и тоско́й.

— Не плачь! — говори́л Па́вел ла́сково и тихо, а ей каза́лось, что он проща́ется. — Поду́май, како́ю жи́знию мы живём? Тебе́ со́рок лет, — а ра́зве ты жи́ла? Оте́ц тебя́ бил, — я тепе́рь понима́ю, что он на твои́х бока́х вымеща́л своё́ го́ре — го́ре своё́й жи́зни; оно́ дави́ло его́, а он не понима́л — отку́да оно́? Он рабо́тал три́дцать лет, на́чал рабо́тать, когда́ вся фа́брика помеща́лась в двух корпу́сах, а тепе́рь их — семь!

Она слѣшала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он двинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слѣз, свою первую речь о правде, понятой им. Со всею силой юности и жаром ученика, гордого знаньями, свято верующего в их истину, он говорил о том, что было ясно для него, — говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он начинал говорить снова, но уже о ней, о её жизни.

— Какие радости ты знала? — спрашивал он. — Чем ты можешь помянуть прожитое?

Она слѣшала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, неизвестное ей, скорбное и радостное, — оно мягко ласкало её наболѣвшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью, — думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подружками, говорила подолгу, обо всѣм, но все — и она сама — только жаловались, никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит её сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, — всё это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери, говорит ей о её страданиях, жалеет её.

Матери — не жалеют.

Она это знала. Всѣ, что говорил сын о женской жизни, — была горькая, знакомая правда, и в груди у неё тихо трепетал клубок ощущений, всё более согревавший её незнакомой лаской.

— Что же ты хочешь дѣлать? — спросила она, перебивая его речь.

— Учиться, а потом — учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять — отчего жизнь так тяжела для нас.

Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, всегда серьёзные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На её губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя в морщинах щѣк ещё дрожали слѣзы. В ней колебалось

дво́йственное чу́вство го́рдости сы́ном, кото́рый так хоро́шо ви́дит го́ре жи́зни, но она́ не могла́ забы́ть о его́ молодости и о том, что он говори́т не так, как все, что он оди́н реши́л вступи́ть в спор с э́той приви́чной для всех — и для неё — жи́знию. Ей хоте́лось сказа́ть ему́:

«Ми́лый, что ты мо́жешь сде́лать?»

Но она́ боя́лась помеша́ть себе́ любова́ться сы́ном, кото́рый вдруг откры́лся перед не́ю та́ким у́мным... хотя́ немно́го чу́жим для неё.

Па́вел ви́дел улы́бку на губа́х ма́тери, внима́ние на лице́, любо́вь в её глаза́х, ему́ каза́лось, что он заста́вил её пони́ять свою́ пра́вду, и ю́ная го́рдость си́лою сло́ва возвыша́ла его́ ве́ру в себя́. Охва́ченный возбу́ждением, он говори́л, то усмеха́ясь, то хму́ря бро́ви, поро́ю в его́ слова́х звуча́ла ненави́сть, и, когда́ мать слы́шала её зве́нящие, жёсткие слова́, она́, пуга́ясь, кача́ла голово́й и ти́хо спра́шивала сы́на:

— Так ли, Па́ша?

— Так! — отве́чал он твёрдо и кре́пко. И рассказы́вал ей о лю́дях, кото́рые, жела́я добра́ наро́ду, се́яли в нём пра́вду¹, а за э́то враги́ жи́зни лови́ли их, как зве́рей сажа́ли в тю́рьмы, посыла́ли на ка́торгу...

— Я та́ких люде́й ви́дел! — горячо́ восклицну́л он. — Э́то лу́чшие лю́ди на земле́!

В ней э́ти лю́ди возбу́жда́ли страх, она́ сно́ва хоте́ла спроси́ть сы́на: «Так ли?»

Но не реша́лась и, замира́я, слу́шала рассказы́ о лю́дях, непоня́тных ей, научи́вших её сы́на говори́ть и ду́мать столь опа́сно для него́. Наконе́ц она́ сказа́ла ему́:

— Ско́ро света́ть бу́дет, лёг бы ты, усну́л!

— Да, я сейча́с ля́гу! — согласи́лся он. И, наклоня́сь к ней, спроси́л:

— Поня́ла ты меня́?

— Поня́ла! — вздохну́в, отве́тила она́. Из глаз её сно́ва покати́лись слёзы, и, всхли́пнув, она́ доба́вила: — Пропаде́шь ты!

Он встал, прошёлся по ко́мнате, пото́м сказа́л:

— Ну вот, ты тепе́рь зна́ешь, что я де́лаю, куда́ хожу́, я тебе́ всё сказа́л! Я прошу́ тебя́, мать, е́сли ты меня́ люби́шь — не меша́й мне!..

¹ Се́ять пра́вду — распростра́нять пра́вду.

— Голубчик ты мой! — воскликнула она. — Может — лучше бы для меня не знать ничего!

Он взял её руку и крепко стиснул в своих.

Её потрясло слово «мать», сказанное им с горячей силой, и это пожатие руки, новое и странное.

— Ничего я не буду делать! — прерывающимся голосом сказала она. — Только береги ты себя, береги!

Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худеешь ты всё...

И, обняв его крепкое, стройное тело ласкающим, теплым взглядом, заговорила торопливо и тихо:

— Бог с тобой! Живи как хочешь, не буду я тебе мешать. Только об одном прошу — не говори с людьми без страха! Опасаться надо людей — ненавидят все друг друга! Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнёшь ты их обличать да судить — возненавидят они тебя, погубят!

Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал:

— Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда, — люди стали лучше!..

Он снова улыбнулся и продолжал:

— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых за подлость, которых — не знаю за что, — так, просто! А теперь все для меня по-другому встали, — жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей!..

Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе, потом негромко и вдумчиво сказал:

— Вот как дышит правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

— Опасно ты переменялся, о господи!

Когда он лёг и уснул, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке чётко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать, босая и в одной рубашке, стояла у его постели, губы её беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие мутные слёзы.

И снова они стали жить молча, далёкие и близкие друг другу.

Однажды среди недели, в праздник, Пáвел, уходя из дома, сказа́л ма́тери:

— В суббо́ту у меня́ бу́дут го́сти из го́рода.

— Из го́рода? — повторила мать и — вдруг — всхлинула.

— Ну, о чём, ма́маша? — недово́льно восклицнул Па́вел.

Она́, утира́я лицо́ фа́ртуком, отве́тила, вздыха́я:

— Не зна́ю, — так уж...

— Бои́шься?

— Бою́сь! — созна́лась она́.

Он наклонился к её лицу́ и се́рдито — то́чно его́ о́тец — проговори́л:

— От стра́ха все мы и пропа́дем! А те, кто кома́нду-ет на́ми, поль́зуются на́шим стра́хом и ещё бо́льше запугива́ют нас.

Ма́ть тоскли́во взвы́ла:

— Не се́рдись! Как мне не бо́яться! Всю жизнь в стра́хе жи́ла, — вся ду́ша обросла́ стра́хом!

Негро́мко и мя́гче он сказа́л:

— Ты прости́ меня́, — и́наче не́льзя!

И ушёл.

Три дня у неё дрожа́ло се́рдце, замира́я ка́ждый раз, как она́ вспоми́нала, что в дом приду́т какие-то чу́жие лю́ди, стра́шные. Это они́ указа́ли сы́ну доро́гу, по ко́торой он иде́т...

В суббо́ту, ве́чером, Па́вел пришёл с фа́брики, умы́лся, переоде́лся и, сно́ва уходя́ куда́-то, сказа́л, не глядя́ на ма́ть:

— Приду́т — скажи́, что я сейча́с воро́чусь. И, пожа́луйста, не бо́йся...

Она́ бесси́льно опу́стилась на ла́вку. Сы́н хму́ро взгля́нул на неё и предло́жил:

— Мо́жет быть, ты... уйдёшь куда́-нибудь?

Это её оби́дело. Отрица́тельно качну́в голо́вой, она́ сказа́ла:

— Нет. За́чем же?

Был ко́нec но́ября. Днём на ме́рзлую зе́млю впа́л сухой, ме́лкий снег, и тепе́рь было слы́шно, как он скри́пит под но́гами уходи́вшего сы́на. К сте́клам она́ неподви́жно прислони́лась густа́я тьма, вражде́бно под-

стерегая что-то. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стенам.

Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой струйкой, печальной и мелодичной, задумчиво плутал в пустыне тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены.

В сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряжённо подняв брови, встала.

Дверь открыли. Сначала в комнату всунулась голова в большой, мохнатой шапке, потом, согнувшись, медленно пролезло длинное тело, выпрямилось, не торопясь подняло правую руку и, шумно вздохнув, густым, грудным голосом, сказала:

— Добрый вечер!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома нету?

Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом то же сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошёл в комнату. Подошёл к стулу, осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности, наконец сел и, прикрыв рот рукой, зевнул. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритые щеки и длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими, выпуклыми глазами серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил:

— Что ж, это ваша хата, или — нанимаете?

Мать, сидя против него, ответила:

— Нанимаем.

— Неважная хата! — заметил он.

— Паша скоро придёт, вы подождите! — тихо попросила мать.

— Да я уже и жду! — спокойно сказал длинный человек.

Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободряли мать. Человек смотрел на неё открыто, доброжелательно, в глубине его прозрачных глаз играла весёлая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой¹, с длинными

¹ Угловатый, сутулый — нескладный, согбленный человек.

ми нога́ми, было́ что́-то забавное и располагающее¹ к нему́. Оде́т он был в синюю руба́шку и чёрные шарова́ры, суну́тые в сапоги́. Ей захотѣлось спроси́ть его́ — кто он, отку́да, давно́ ли зна́ет её сы́на, но вдруг он весь покачну́лся и сам спроси́л её:

— Кто ж это́ лоб проби́л вам, не́нько?²

Спроси́л он ла́сково, с я́сной улы́бкой в глаза́х, но — же́нщину оби́дел это́т вопро́с. Она́ поджа́ла губы́ и, помолча́в, с холо́дной ве́жливостью осведоми́лась:

— А вам како́е де́ло до это́го, ба́тюшка мой?

Он мотну́лся к ней всем те́лом:

— Да вы не серча́йте³, чего́ же! Я потому́ спроси́л, что у ма́тери моёй приё́мной то́же голова́ была́ проби́та, совсе́м вот так, как ва́ша. Ей, ви́дите, сожи́тель проби́л, сапо́жник, коло́дкой⁴. Она́ была́ пра́чка, а он сапо́жник. Она́,— уже́ по́сле того́, как приня́ла меня́ за сы́на,— нашла́ его́ где́-то, пья́ницу, на своё ве́ликое го́ре. Бил он её, скажу́ вам! У меня́ со стра́ху ко́жа ло́палась...

Ма́ть почувство́вала себя́ обезору́женной его́ откровенно́стью, и ей подумало́сь, что, пожа́луй, Па́вел рассерди́тся на неё за нела́сковый отве́т это́му чу́даку. Винова́то улыба́ясь, она́ сказа́ла:

— Я не рассерди́лась, а уж о́чень вы срáзу... спроси́ли. Муже́нок это́ угости́л меня́, ца́рство ему́ небе́сное! Вы не тата́рин бу́дете?

Челове́к дры́гну́л нога́ми и так широко́ улы́бну́лся, что у него́ да́же у́ши подвину́лись к заты́лку. Потом он серьё́зно сказа́л:

— Нет ещё́.

— Го́вор у вас как бу́дто не ру́сский! — объ́ясни́ла ма́ть улыба́ясь, поня́в его́ шу́тку.

— Он — лу́чше ру́сского! — ве́село кивну́в голо́вой, сказа́л гость.— Я хохо́л, из го́рода Ка́нева.

— А да́вно здесь?

— В го́роде жи́л о́коло го́да, а тепе́рь перешёл к вам на фа́брику, ме́сяц тому́ наза́д. Здесь лю́дей хоро́ших нашёл — сы́на ва́шего и други́х. Здесь — поживу́! — гово́ри́л он, дёргая усы́.

¹ Распо́ла га́ ю щее — при́ятное, привле́кательное.

² Не́нько (украи́нское) — ма́ма, ма́мушка.

³ Серча́ть — серди́ться.

⁴ Коло́дка — кусо́к де́рева, вы́резанный в фо́рме но́ги (употребля́ется для шитья́ обу́ви).

Он ей нравился, и, повинувшись желанию заплатить ему чём-нибудь за его слова о сыне, она предложила:

— Может, чайку выпьете?

— Что же я один угощаться буду? — ответил он, подняв плечи. — Вот уже когда все соберутся, вы и почествуйте...¹

Он напомнил ей об её страхе.

«Кабы все такие были!» — горячо пожелала она.

Снова раздалась шаг в сенях, дверь торопливо отворилась — мать снова встала. Но, к её удивлению, в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила:

— Не опоздала я?

— Да нет же! — ответил хохол, выглядывая из комнаты. — Пешком?

— Конечно! Вы — мать Пávла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовут — Наташа...

— А по батюшке? — спросила мать.

— Васильевна. А вас?

— Пелагея Нíловна.

— Ну, вот мы и знакомы...

— Да! — сказала мать, легко вздохнув и с улыбкой рассматривая девушку.

Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал:

— Холодно?

— В поле — очень! Ветер...

Голос у неё был сочный, ясный, рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она крепко потёрла румяные щёки маленькими, красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблукáми ботинок.

«Без галош ходит!» — мелькнуло в голове матери.

— Да-а, — протянула девушка, вздрагивая. — Иззябла я... ух как!

— А вот я вам сейчас самоварчик согрею! — заторопилась мать, уходя в кухню. — Сейчас...

Ей показалось, что она давно знает эту девушку и любит её хорошей, жалостливой любовью матери. Улыбаясь, она прислушивалась к разговору в комнате.

— Вы что скучный, Находка? — спрашивала девушка.

¹ Чествовать — здесь: угощать.

— А — так, — негромко ответил хохол. — У вдовы глаза хорошие, мне и подумалось, что, может, у матери моей такие же? Я, знаете, о матери часто думаю, и всё мне кажется, что она жива.

— Вы говорили — умерла?

— То — приёмная умерла. А я — о родной. Кажется мне, что она где-нибудь в Кіеве милостыню собирает. И водку пьёт. А пьяную её полицейские по щекам бьют.

«Ах ты, сердечный!» — подумала мать и вздохнула.

Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла:

— Э, вы ещё молоды, товарищ, — мало луку ёли! ¹ Родить — трудно, научить человека добру — ещё труднее.

«Ишь ты!» — внутренне воскликнула мать, и ей захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь нетопливо отворилась, и вошёл Николай Весовщиков, сын старого вора Данилы, известный всей слободе нелюдым ². Он всегда угрюмо сторонился людей, и над ним издевались за это. Она удивлённо спросила его:

— Ты что, Николай?

Он вытер широкой ладонью рябое, скуластое лицо и, не здороваясь, глухо спросил:

— Павел дома?

— Нет.

Он заглянул в комнату, пошёл туда, говоря:

— Здравствуйте, товарищи...

«Этот?» — неприязненно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно.

Потом пришли двое парней, почти ещё мальчики. Одного из них мать знала, — это племянник старого фабричного рабочего Сизова — Фёдор, остролицый ³, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причёсанный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел и с ним два молодых человека, она знала их, оба — фабричные. Сын ласково сказал ей:

— Самовар поставила? Вот спасибо!

— Может, водочки купить? — предложила она, не

¹ Мало луку ёли — поговорка, означает: неопытны, мало знаете жизнь.

² Нелюдым — человек, который избегает людей.

³ Остролицый — с узким, заострённым лицом.

зная, как выразить ему свою благодарность за что-то, чего ещё не понимала.

— Нет, это лишнее! — отозвался Пáвел, дружелюбно улыбаясь ей.

Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувеличил опасность собрания, чтобы подшутить над ней.

— Вот это и есть — запрещённые люди? — тихонько спросила она.

— Эти самые! — ответил Пáвел, проходя в комнату.

— Эх, ты!.. — проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно¹ подумала: «Дитя ещё!»

VI

Самовáр вскипéл, мать внесла его в комнату. Гости сидели тесным кружком у стола, а Натáша, с книжкой в руках, поместилась в углу, под лампой.

— Чтобы понять, отчего люди живут так плохо... — говорила Натáша.

— И отчего они сами плохи, — вставил хохól.

...— Нужно посмотреть, как они начали жить...

— Посмотрите, милые, посмотрите! — пробормотала мать, заваривая чай.

Все замолчали.

— Вы что, мамáша? — спросил Пáвел, хму́ря брови.

— Я? — Она огляну́лась и, видя, что все смóтрят на неё, смущённо объяснила: — Я так, про себя, — поглядите, мол!

Натáша засмеялась, и Пáвел усмехну́лся, а хохól сказал:

— Спаси́бо вам, нёнько, за чай!

— Не пи́ли, а уж благодарите! — отозвала́сь она и, взгляну́в на сына, спросила:

— Я ведь не помеша́ю?

Ответи́ла Натáша:

— Как же вы, хозяйка, можете помеша́ть гостя́м?

И де́тски жа́лобно попроси́ла:

— Голу́бушка! Да́йте мне скорée ча́ю! Вся трясу́сь, стра́шно но́ги иззя́бли!

— Сейча́с, сейча́с! — торопли́во восклицнула мать.

¹ Снисхо́ди́тельно — мя́гко, не стро́го,

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, бросила косу за плечо и начала читать книгу в жёлтой обложке, с картинками. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в плавною речь девушки. Звучный голос сливался с тонкой, задумчивой песней самовара, в комнате красивой лентой вился рассказ о диких людях, которые жили в пещерах и убивали камнями зверей. Это было похоже на сказку, и мать несколько раз взглянула на сына, желая его спросить — что же в этой истории запретного? Но скоро она утомилась следить за рассказом и стала рассматривать гостей, незаметно для сына и для них.

Павел сидел рядом с Наташей; он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и понизив голос, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. Хол навалился широкою грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издёрганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно деревянный, упираясь ладонями в колёна, и его рябое лицо без бровей, с тонкими губами, было неподвижно, как маска. Не мигая узкими глазами, он упорно смотрел на своё лицо, отражённое в блестящей меди самовара, и, казалось, не дышал. Маленький Фёдя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищ согнулся, поставив локти на колёна, и, подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Один из парней, пришедших с Павлом, был рыжий, кудрявый, с весёлыми зелёными глазами, ему, должно быть, хотелось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался; другой, светловолосый, коротко остриженный, гладил себя ладонью по голове и смотрел в пол, лица его не было видно. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, неизвестное ей и, под журчание голоса Наташи, вспоминала шумные вечеринки своей молодости, грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой водкой, их циничные шутки. Вспоминала, — и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало её сердце...

...— Мне не то надо знать, как люди жили, а как надо жить! — раздался в комнате недовольный голос Весовщикова.

— Вот именно! — поддержал его рыжий, вставая.

— Не согласен! — крикнул Фёдя.

Вспыхнул спор, засверкали слова, точно языки огня в костре. Мать не понимала, о чём кричат. Все лица загорелись румянцем возбуждения, но никто не злился, не говорил знакомых ей резких слов.

«Барышни стесняются!» — решила она.

Ей нравилось серьёзное лицо Наташи, внимательно наблюдавшей за всеми, точно эти парни были детьми для неё.

— Подождите, товарищи! — вдруг сказала она. И все они замолчали, глядя на неё.

— Правы те, которые говорят — мы должны всё знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума, чтобы тёмные люди видели нас, нам нужно на всё ответить честно и верно. Нужно знать всю правду, всю ложь...

VII

Дни скользили один за другим, как бусы чёток, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью длинной, пологой лестницы, — она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей.

Появлялись новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. Приходила Наташа, изыбшая, усталая, но всегда неисчерпаемо весёлая и живая. Мать связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась, а потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько сказала:

— У меня няня была, — тоже удивительно добрая! Как странно, Пелагея Ниловна, — рабочий народ живёт такой трудной, такой обидной жизнью, а ведь у него больше сердца, больше доброты, чем у тех!

И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень далеко от неё.

— Вот какая вы! — сказала Власова. — Родителей лишили и всего, — она не умела закончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя в лицо Наташи, чувствуя к ней благодарность за что-то. Она сидела на полу перед ней, а девушка задумчиво улыбалась, наклонив голову.

— Родителей лишилась? — повторила она. — Это — ничего! Отец у меня такой грубый, брат тоже. И — пьяница. Старшая сестра — несчастная... Вышла замуж за человека много старше её... Очень богатый, скучный, жадный. Маму — жалко! Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, — так же быстро бегает и всех боится. Иногда — так хочется видеть её...

— Бедная вы моя! — грустно качая головой, сказала мать.

Девушка быстро вскинула голову и протянула руку, как бы отталкивая что-то.

— О, нет! Я порой чувствую такую радость, такое счастье!

У неё побледнело лицо и синие глаза ярко вспыхнули. Положив руки на плечи матери, она глубоким голосом сказала тихо и внушительно:

— Если бы вы знали... если бы вы поняли, какое великое дело делаем мы!..

Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь с пола, она грустно проговорила:

— Старая уж я для этого, неграмотная...

...Павел говорил всё чаще, больше, всё горячее спорил и — худел. Матери казалось, что когда он говорит с Натасей или смотрит на неё, — его строгие глаза блещут мягче, голос звучит ласковее и весь он становится проще.

«Дай господи!» — думала она. И улыбалась.

Всегда на собраниях, чуть только споры начинали принимать слишком горячий и бурный характер, вставал хохол и, раскачиваясь, точно язык колокола, говорил своим звучным, гудящим голосом что-то простое и доброе, отчего все становились спокойнее и серьезнее. Весовщиков постоянно угрюмо торопил всех куда-то, он и рыжий, которого звали Самойлов, первые начинали все споры. С ними соглашался круглоголовый, белобрысый, точно вымытый щелоком Иван Буйкин. Яков Сомов, гладкий и чистый, говорил мало, тихим, серьезным голосом, он и большелобый Фёдя Мазин всегда стояли в спорах на стороне Павла и хохла.

Иногда вместо Натаси являлся из города Николай Иванович, человек в очках, с маленькой светлой бородкой, уроженец какой-то дальней губернии, — он говорил особенным — на о — говорком. Он вообще весь был ка-

кой-то далёкий. Рассказывал он о простых вещах — о семейной жизни, о детях, о торговле, о полиции, о ценах на хлеб и мясо, — обо всём, чем люди живут изо дня в день. И во всём он открывал фальшь, путаницу, что-то глупое, порою смешное, всегда — явно невыгодное людям. Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и лёгкой жизнью, а здесь — всё чужое ему, он не может привыкнуть к этой жизни, принять её как необходимую, она не нравится ему и возбуждает в нём спокойное, упрямое желание перестроить всё на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие, лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда тёплые. Здраваясь с Власовой, он обнимал всю её руку крепкими пальцами, и после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее.

Являлись и ещё люди из города, чаще других — высокая, стройная барышня с огромными глазами на худом, бледном лице. Её звали Сашенька. В её походке и движениях было что-то мужское, она сердито хмурила густые, тёмные брови, а когда говорила — тонкие ноздри её прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала громко и резко:

— Мы — социалисты...

Когда мать услышала это слово, она в молчаливом испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала, что социалисты убили царя. Это было во дни её молодости: тогда говорили, что помещики, желая отомстить царю за то, что он освободил крестьян, дали зарок не стричь себе волос до поры, пока они не убьют его, за это их и называли социалистами. И теперь она не могла понять — почему же социалист сын её и товарищи его?

Когда все разошлись, она спросила Павла:

— Павлуша, разве ты социалист?

— Да! — сказал он, стоя перед нею, как всегда, прямо и твёрдо. — А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила:

— Так ли, Павлуша? Ведь они — против царя, ведь они убили одного.

Павел прошёлся по комнате, погладил рукой щеку и, усмехнувшись, сказал:

— Нам это не нужно!

Он долго говорил ей что-то тихим, серьезным голосом. Она смотрела ему в лицо и думала:

«Он не сделает ничего худого, он не может!»

А потом страшное слово стало повторяться всё чаще, острота его стёрлась, и оно делалось таким же привычным её уху, как десятки других непонятных слов. Но Сашенька не нравилась ей, и, когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно, неловко...

Однажды она сказала хохлу, недовольно поджимая губы:

— Что-то уж очень строгая Сашенька! Всё приказывает — вы и то должны, вы и это должны...

Хохол громко засмеялся.

— Верно взято! Вы, ненько, в глаз попали! Пáвел, а?

И, подмигивая матери, сказал с улыбкой в глазах:

— Дворянство!

Пáвел сухо заметил:

— Она хороший человек.

— Это верно! — подтвердил хохол. — Только не понимает, что она — должна, а мы — хотим и можем!

Они заспорили о чём-то непонятном.

Мать заметила также, что Сашенька наиболее строго относится к Пáвлу, иногда она даже кричит на него. Пáвел, усмехаясь, молчал и смотрел в лицо девушки тем мягким взглядом, каким ранее он смотрел в лицо Натáщи. Это тоже не нравилось матери.

Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становились странно, как-то по-детски счастливы, смеялись весёлым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам.

— Молодцы товарищи немцы! — кричал кто-нибудь, точно опьянённый своим весельем.

— Да здравствуют рабочие Италии! — кричали в другой раз.

И, посылая эти крики куда-то вдаль, друзьям, которые не знали их и не могли понять их языка, они, казалось, были уверены, что люди, неизвестные им, слышат и понимают их восторг.

Хохол говорил, блестя глазами, полный всех обнимавшего чувства любви:

— Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали они, что в России живут у них друзья, которые веруют и исповедуют одну религию с ними¹, живут люди одних целей и радуются их победам!

И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго говорили о французах, англичанах и шведах как о своих друзьях, о близких сердцу людях, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе.

В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливалось всех в одну душу, волнуя и мать; хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло её своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной надежд.

— Какие вы! — сказала она хохлу как-то раз. — Все вам товарищи — армяне, и евреи, и австрияки, — за всех печаль и радость!

— За всех, моя ненько, за всех! — воскликнул хохол. — Для нас нет наций, нет племён, есть только товарищи, только враги. Все рабочие — наши товарищи, все богатые, все правительства — наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас, рабочих, много, сколько силы мы несём, — такая радость обнимает сердце, такой великий праздник в груди! И так же, ненько, чувствует француз и немец, когда он взглянут на жизнь, и так же радуется итальянец. Мы все дети одной матери — непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо — в сердце рабочего, и кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист — наш брат по духу всегда, ныне и присно и во веки веков!²

Эта детская, но крепкая вера всё чаще возникала среди них, всё возвышалась и росла в своей могучей силе. И, когда мать видела её, она невольно чувствовала, что действительно в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ему.

Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но невесёлые и необычные по напе-

¹ Исповедуют одну религию с ними — здесь: думают так же, как и они, о борьбе за освобождение рабочих.

² Ныне и присно и во веки веков (на церковнославянском языке) — теперь и всегда и на вечные времена.

вам. Их пѣли вполгѣлоса, серьёзно, точно церковное. Лица певцов бледнѣли, разгорались, и в звѣчных словах чувствовалась больша́я сила.

Особенно одна из новых пѣсен тревожила и волновала женщину. В этой пѣсне не слышно было печальнаго раздумья душъ, обиженной и одиноко блуждающей по тѣмным тропамъ горестных недоумѣний, стоновъ душъ, забитой нуждой, запуганной страхомъ, безличной и бесцвѣтной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающіе крики заборной удачи, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. В ней не было слѣпого чувства мести и обиды, которое способно всё разрушить, бессильное что-нибудь создать,— в этой пѣсне не слышно было ничего от старо-го, рабьего міра¹.

Рѣзкіе слова и суровый напѣв еѣ не нравились матери, но за словами и напѣвомъ было нечто большее, оно заглушало звук и слово своею силой и будило в сердце предчувствіе чего-то необъятнаго для мысли. Это нечто она видела на лицах, в глазахъ молодѣжи, она чувствовала в ихъ грудяхъ и, поддаваясь силе пѣсни, не умиравшейся в словахъ и звукахъ, всегда слушала еѣ съ особеннымъ вниманіемъ, съ тревогой болѣе глубокой, чемъ все другіе пѣсни.

Эту пѣсню пѣли тише другихъ, но она звучала сильнѣе всехъ и обнимала людей, какъ вѣздухъ мартовскаго дня — перваго дня грядущей весны.

— Пора намъ это на улице запѣть! — угрюмо говорилъ Весовщиковъ...

IX

В слободке говорили о социалистахъ, которые разбрасываютъ написанные синими чернилами листки. В этихъ листкахъ зло писали о порядкахъ на фабрикѣ, о стачкахъ рабочихъ в Петербургѣ и в южной Россіи, рабочие призывались къ объединенію и борьбѣ за свой интересъ.

Пожилые люди, имѣвшие на фабрикѣ хорошій заработокъ, ругались:

— Смутьяны! За такіе дела надо морду бить!

¹ Рабий мир — мир рабовъ.



Под знаменем стояло человек двадцать, не более, но они стояли
твёрдо...

К стр. 160

И носіли листкі в контору. Молодёжь читала проклама́ции ¹ с увлечением:

— Пра́вда!

Большинство, забітое рабо́той и ко все́му равноду́шное, лени́во отзы́валось:

— Ниче́го не бу́дет,— ра́зве мо́жно?

Но листкі волновали́ люде́й, и, е́сли их не́ было неде́лю, лю́ди уже́ говори́ли друг дру́гу:

— Бро́сили, ви́дно, печа́тать...

А в понеде́льник листкі сно́ва появля́лись, и сно́ва рабо́чие глу́хо шумели́.

В тракти́ре и на фа́брике замеча́ли но́вых, нико́му не изве́стных люде́й. О́ни выпра́шивали, рассма́тривали, ню́хали и сра́зу броса́лись все́м в глаза́, о́дни — подо́зрительной осто́рожно́стью, дру́гие — изли́шней навя́зчивостью.

Ма́ть понима́ла, что э́тот шум по́днят рабо́той её сы́на. О́на ви́дела, как лю́ди стя́гивались вокру́г него́. И опа́сения за судьбу́ Па́вла слива́лись с го́рдостью за него́...

Х

...У Па́вла сиде́л Никола́й Весовщи́ков, и, втроём с Андре́ем, о́ни говори́ли о своёй газе́те. Бы́ло по́здно, о́коло полу́ночи. Ма́ть уже́ легла́ и, засыпа́я, сквозь дре́му ² слы́шала озабо́ченные, ти́хие голосо́а. Вот Андре́й, осто́рожно шага́я, проше́л че́рез ку́хню, ти́хо притвори́л за собо́й дверь. В сеня́х загремело́ желе́зное ведро́. И вдруг дверь широко́ распахну́лась — хохот шагну́л в ку́хню, го́лко шепну́в:

— Шпо́ры звеня́т!

Ма́ть вскочи́ла с посте́ли, дрожа́щими рука́ми хвата́я пла́тье, но в дверь из ко́мнаты яви́лся Па́вел и споко́йно сказа́л:

— Вы лежи́те,— вам нездо́ровится!

В сеня́х был слы́шен осто́рожный шо́рох. Па́вел подошёл к двере́и и, толкну́в её руко́й, спроси́л:

— Кто там?

¹ Прокла́мация — листок с призы́вом к борьбе́.

² Сквозь дре́му — сквозь дремоту́, в полусне́.

В дверь странно быстро вернулась высокая серая фигура, за ней другая, двое жандармов оттеснили Павла, встали по бокам у него, и прозвучал высокий, насмешливый голос:

— Не те, кого вы ждали, а?

Это сказал высокий, тонкий офицер с черными редкими усами. У постели матери появился слободский полицейский Федякин и, приложив одну руку к фуражке, а другою указывая в лицо матери, сказал, сделав страшные глаза:

— Вот это мать его, ваше благородие! — И, махнув рукой на Павла, прибавил: — А это — он самый!

— Павел Власов? — спросил офицер, прищурив глаза, и, когда Павел молча кивнул головой, он заявил, крутя ус: — Я должен произвести обыск у тебя. Старуха, встань! Там — кто? — спросил он, заглядывая в комнату, и порывисто шагнул к двери.

— Ваши фамилии? — раздался его голос.

Из сеней вышли двое понятых¹ — старый литейщик Тверяков и его постоялец, кочегар Рыбин, солидный, черный мужик. Он густо и громко сказал²:

— Здравствуй, Ниловна!

Она одевалась и, чтобы придать себе бодрости, тихонько говорила:

— Что уж это! Приходят ночью, — люди спать легли, а они приходят!..

В комнате было тесно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармов и слободский пристав³ Рыскин, громко топая ногами, снимали с полки книги и складывали их на стол перед офицером. Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья, один неуклюже лез на печь. Хохол и Весовщиков, тесно прижавшись друг к другу, стояли в углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами, его маленькие серые глаза не отрываясь смотрели на офицера. Хохол крутил усы, и, когда мать вошла в комнату, он, усмехнувшись, ласково кивнул ей головой.

Стараясь подавить свой страх, она двигалась не

¹ Понятый — свидетель, присутствующий при обыске.

² Густо сказал — здесь: сказал густым, полнозвучным голосом.

³ Пристав — начальник полиции в слободе.

боком, как всегда, а прямо, грудью вперёд,— это придавало её фигуре смешную и напыщенную¹ важность. Она громко топала ногами, а брови у неё дрожали...

Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки, перелистывал их, встряхивал и ловким движением кисти отбрасывал в сторону. Порою книга мягко шлёпалась на пол. Все молчали, было слышно тяжёлое сопение вспотевших жандармов, звякали шпоры, иногда раздавался негромкий вопрос:

— Здесь смотрел?

Мать встала рядом с Павлом у стены, сложила руки на груди, как это сделал он, и тоже смотрела на офицера. У неё вздрагивало под коленями и глаза застилал сухой туман.

Вдруг среди молчания раздался режущий ухо голос Николая:

— А зачем это нужно — бросать книги на пол?

Мать вздрогнула. Тверяков качнул головой, точно его толкнули в затылок, а Рыбин крикнул и внимательно посмотрел на Николая.

Офицер прищурил глаза и воткнул их на секунду в рябье, неподвижное лицо. Пальцы его ещё быстрее стали перебрасывать страницы книг. Порою он так широко открывал свои большие серые глаза, как будто ему было невыносимо больно и он готов крикнуть громким криком бессильной злобы на эту боль.

— Солдат! — снова сказал Весовщиков.— Подними книги...

Все жандармы обернулись к нему, потом посмотрели на офицера. Он снова поднял голову и, окинув широкую фигуру Николая испытующим взглядом, протянул в нос:

— Н-но... поднимите...

Один жандарм нагнулся и, искоса глядя на Весовщикова, стал подбирать с пола растрёпанные книги...

— Молчать бы Николаю-то! — тихо шепнула мать Павлу.

Он пожал плечами. Хохол опустил голову.

— Кто это читает Библию?

— Я! — сказал Павел.

— А чьи все эти книги?

— Мой! — ответил Павел.

¹ Напыщенный — преувеличенно значительный вид.

— Так! — сказа́л офице́р, отки́дываясь на спи́нку сту́ла. Хру́стнул па́льцами то́нких рук, вы́тянул под сто́лом но́ги, попра́вил усы́ и спроси́л Никола́я:

— Это ты — Андре́й Нахо́дка?

— Я! — отве́тил Никола́й, подвига́ясь впе́ред. Хохо́л вы́тянул ру́ку, взял его́ за плечо́ и ото́двинул наза́д.

— Он оши́бся! Я — Андре́й!..

Офице́р, подня́в ру́ку и грозя́ Весовщи́кову ма́леньким па́льцем, сказа́л:

— Смотри́ ты у меня́!

Он на́чал ры́ться в свои́х бума́гах.

С у́лицы в окно́ безду́шными глаза́ми смотре́ла све́тлая, лу́нная ночь. Кто́-то ме́дленно ходи́л за окно́м, скрипе́л снег.

— Ты, Нахо́дка, привле́кался уже́ к дозна́нию по полити́ческим престу́плениям? — спроси́л офице́р.

— В Ростове́ привле́кался, и в Сара́тове... То́лько там жандармы́ говори́ли мне — «вы»...

Офице́р мигну́л пра́вым гла́зом, поте́р его́ и, оскáliв ме́лкие зу́бы, заговори́л:

— А не изве́стно ли вам, Нахо́дка, и́менно вам, — кто те мерза́вцы, кото́рые разбра́сывают на фа́брике престу́пные возбу́ждения, а?

Хохо́л покачну́лся на нога́х и, широко́ улыба́ясь, хоте́л что́-то сказа́ть, но — вно́вь прозвуча́л раздража́ющий го́лос Никола́я:

— Мы мерза́вцев пе́рвый раз ви́дим...

Наступи́ло молча́ние, все остано́вились на секун́ду.

Шрам на лице́ ма́тери побеле́л, и пра́вая бровь всползла́ кве́рху. У Ры́бина стра́нно задрожала́ его́ че́рная борода́; опу́стив глаза́, он стал ме́дленно расче́сывать её па́льцами.

— Вы́ведите вон э́того скота́! — сказа́л офице́р.

Дво́е жандармов́ взя́ли Никола́я по́д ру́ки, гру́бо пове́ли его́ в ку́хню. Там он остано́вился, крепко́ упира́ясь нога́ми в пол, и кри́кнул:

— Сто́йте... я оде́нусь!

Со дво́ра яви́лся приста́в и сказа́л:

— Ниче́го нет, всё осмо́трели!

— Ну, разуме́ется! — восклицну́л офице́р, усме́хаясь. — Здесь — опы́тный челове́к...

Ма́ть слу́шала его́ сла́бый, вздра́гивающий и ло́мкий го́лос и, со стра́хом глядя́ в же́лтое лицо́, чу́ствовала в

этом человеке врага́ без жа́лости, с се́рдцем, по́льным ба́рского презре́ния к лю́дям. Она́ ма́ло ви́дела таких люде́й и почти́ забы́ла, что оні́ есть.

«Вот ко́го потрево́жили!» — ду́мала она́.

— Вас, госпо́дин Андре́й О́нисимов Нахо́дка неза-
коннорожде́нный, я аресто́ую!

— За что? — споко́йно спроси́л хохол.

— Это я вам по́сле скажу́! — со злой ве́жливостью
отве́тил офице́р. И, обратя́сь к Вла́совой, спроси́л: — Ты
гра́мотна?

— Нет! — отве́тил Па́вел.

— Я не тебя́ спра́шиваю! — стро́го сказа́л офице́р и
сно́ва спроси́л: — Стару́ха, отвеча́й!

Ма́ть, нево́льно отдава́ясь чу́вству не́нависти к э́тому
челове́ку, вдруг, то́чно пры́гнув в холо́дную во́ду, охва-
ченная дро́жью, ви́прямилась, шрам её побагрове́л, и
бровь ни́зко опусти́лась.

— Вы не кри́чите! — заговори́ла она́, протяну́в к
нему́ ру́ку. — Вы ещё́ молодо́й челове́к, вы го́ря не
зна́ете...

— Успоко́йтесь, мама́ша! — остано́вил её Па́вел.

— Погоди́, Па́вел! — кри́кнула ма́ть, порыва́ясь к
сто́лу. — За́чем вы люде́й хвата́ете?

— Это вас не касáется, — молча́ть! — кри́кнул офи-
це́р, встава́я. — Введе́те аресто́ванного Весовщи́кова!

И на́чал чита́ть како́ую-то бума́гу, подня́в её к лицу́.

Ввели́ Никола́я.

— Ша́пку сня́ть! — кри́кнул офице́р, прерва́в чте́-
ние.

Ры́бин подоше́л к Вла́совой и, толкну́в её плече́м,
тихо́нько сказа́л:

— Не горячи́сь, ма́ть...

— Как же я сниму́ ша́пку, е́сли меня́ за руки
де́ржат? — спроси́л Никола́й, заглуша́я чте́ние про-
токо́ла.

Офице́р бро́сил бума́гу на стол.

— Подписа́ть!

Ма́ть смотре́ла, как подпи́сывают протоко́л, её воз-
бужде́ние пога́сло, се́рдце упáло, на глаза́ наверну́лись
слёзы оби́ды, бесси́лия. Этими слеза́ми она́ пла́кала два-
дцать лет своего́ заму́жества, но послéдние го́ды почти́
забы́ла их разъеда́ющий вкус; офице́р посмотре́л на неё
и, безглаго́ливо сморщив лицо́, заме́тил:

— Вы преждевременно ревёте, сударыня! Смотрите, вам не хвátит слёз впоследствии!

Сно́ва озлобля́ясь, она́ сказа́ла:

— У ма́тери на всё слёз хвátит, на всё! Ко́ли у вас есть мать — она́ это знаёт, да!

Офице́р торопли́во укла́дывал бума́ги в но́венький портфе́ль с блестящим замко́м.

— Марш! — скомáндовал он.

— До свидáнья, Андре́й, до свидáнья, Никола́й! — тепло́ и тихо́ говори́л Па́вел, пожима́я това́рищам ру́ки.

— Вот и́менно — до свидáнья! — усмеха́ясь, повтори́л офице́р...

ХII

Се́рый, ма́ленький дом Вла́совых всё бо́лее и бо́лее притя́гивал внима́ние слободки. В э́том внима́нии бы́ло мно́го подозри́тельной осто́рожности и бессозна́тельной вражды́, но зарожда́лось и дове́рчивое любопы́тство. Иногда́ приходи́л како́й-то челове́к и, осто́рожно огля́дываясь, говори́л Па́влу:

— Ну́-ка, брат, ты тут кни́ги чита́ешь, зако́ны-то изве́стны тебе́. Так вот, объясни́ ты...

И рассказы́вал Па́влу о како́й-нибудь несправедли́вости поли́ции и́ли администра́ции фа́брики. В сло́жных слу́чаях Па́вел дава́л челове́ку запи́ску в го́род к знако́мому адво́кату, а когда́ мог — объясня́л де́ло сам.

Постепенно́ в лю́дях возника́ло ува́жение к молодóму, серьёзному челове́ку, кото́рый обо всё говори́л прóсто и сме́ло, глядя́ на всё и всё слу́шая со внима́нием, кото́рое упря́мо ры́лось в пу́танице ка́ждого ча́стного слу́чая и всегда́, всю́ду находило́ како́ю-то о́бщую, беско́нечную нить, ты́сячами кре́пких пёте́ль связы́вавшую люде́й.

Осо́бенно подня́лся Па́вел в глаза́х люде́й по́сле исто́рии с «болотной копе́йкой».

За фа́брикой, почти́ окружа́я её гнилы́м кольцо́м, тяну́лось обши́рное боло́то, поро́сшее е́льником и берёзой. Ле́том оно́ дыша́ло густы́ми, жёлты́ми испаре́ниями¹, и

¹ Испа́ре́ние — ме́дленно выделя́ющийся пар, газообра́зное веще́ство.

на слобóдку с него́ летéли тóчи комарóв, сéя лихорáдки. Болóто принадлежáло фáбрике, и нóвый дирéктор, желáя извлéчь из него́ пользу, задúмал осушítь его́, а кстáти вы́брать торф. Укáзывая рабóчим, что éта мéра оздоровít мéстность и улúчит услóвия жízни для всех, дирéктор распорядíлся вычитáть из их зáработка копéйку с рубля на осушéние болóта.

Рабóчие заволновáлись. Осóбенно обíдело их, что слúжащие не входíли в числó платéльщиков нóвого налóга.

Пáвел был бóлен в суббóту, когдá вы́весили объявлéние дирéктора о сбóре копéйки; он не рабóтал и не знал ничегó об éтом. На другóй день, пóсле обéдни, к нему́ пришёл благообráзный старíк, литéйщик Сизóв, высóкий и злой слéсарь Махóтин и рассказáли ему́ о решéнии дирéктора.

— Собралíсь мы, котóрые постáрше,— степénно говорíл Сизóв,— поговорíли об éтом, и вот, послáли нас товáрищи к тебе́ спросítь,— как ты у нас человек знáющий,— есть такóй закóн, чтóбы дирéктору нáшей копéйкой с комарáми воевáть?

— Сообразí! — сказáл Махóтин, сверкáя úзкими глазáми.— Четýре гóда томú назáд онí, жульё, на бáню собира́ли. Три ты́сячи восемьсóт бы́ло собрáно. Где онí? Бáни — нет!

Пáвел объяснíл несправедлívость налóга и явную вы́году éтой затéи для фáбрики; онí óба, нахмúрившись, ушли́. Проводíв их, мать сказáла, усмехáясь:

— Вот, Пáша, и старики́ стáли к тебе́ за умóм ходítь.

Не отвечáя, озабóченный Пáвел сел за стол и нáчал чтó-то писáть. Чéрез нéсколько минúт он сказáл ей:

— Я тебя́ прошú: поезжай в гóрод, отдай éту записку...

— Это опáсное? — спросíла она́.

— Да. Там печáтают для нас газéту. Необходíмо, чтóбы истóрия с копéйкой попáла в нóмер...

— Ну-ну! — отозвалáсь она́.— Я сейчáс...

Это бы́ло пёрвое поручéние, дáнное ей сы́ном. Она́ обра́довалась, что он откры́то сказáл ей, в чём дéло.

— Это я понимаю́, Пáша! — говорíла она́, одева́ясь.— Это уж онí гра́бят! Как челове́ка-то зовúт,— Егóр Ивáнович?

Она воротилась поздно вечером, усталая, но довольная.

— Сашеньку видела! — говорила она сыну. — Кланяется тебе. А этот Егор Иванович простой такой, шутник! Смешно говорит.

— Я рад, что они тебе нравятся! — тихо сказал Павел.

— Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди простые! И все уважают тебя...

В понедельник Павел снова не пошёл работать, у него болела голова. Но в обед прибежал Фёдя Мазин, взволнованный, счастливый, и, задыхаясь от усталости, сообщил:

— Идём! Вся фабрика поднялась. За тобой послали. Сизов и Махотин говорят, что лучше всех можешь объяснить. Что делается!

Павел молча стал одеваться.

— Бабы прибежали — визжат!

— Я тоже пойду! — заявила мать. — Что они там затеяли? Я пойду!

— Иди! — сказал Павел.

По улице шли быстро и молча. Мать задыхалась от волнения и чувствовала — надвигается что-то важное. В воротах фабрики стояла толпа женщин, крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во двор, то сразу попали в густую, чёрную, возбуждённо гудевшую толпу. Мать видела, что все головы были обращены в одну сторону, к стене кузнечного цеха, где на груди старого железа и фоне красного кирпича стояли, размахивая руками, Сизов, Махотин, Вялов и ещё человек пять пожилых, влиятельных рабочих.

— Власов идёт! — крикнул кто-то.

— Власов? Давай его сюда...

— Тихе! — кричали сразу в нескольких местах.

И где-то близко раздавался ровный голос Рыбина:

— Не за копейку надо стоять, а — за справедливость, — вот! Дорога нам не копейка наша, — она не круглее других, но — она тяжелее, — в ней крови человеческой больше, чем в директорском рубле, — вот! И не копейкой дорожим, — кровью, правдой, — вот!

Слова его падали на толпу и высекали горячие восклицания:

— Верно, Рыбин!

— Правильно, кочегар!

— Власов пришёл!

Заглушая тяжёлую возню машин, трудные вздохи пара и шелест проводов, голоса сливались в шумный вихрь. Отовсюду торопливо бежали люди, размахивая руками, разжигая друг друга горячими, колкими словами. Раздражение, всегда дремотно тайвшееся в усталых грудях, просыпалось, требовало выхода, торжествуя летало по воздуху, всё шире расправляя тёмные крылья, всё крепче охватывая людей, увлекая их за собой, сталкивая друг с другом, перерождаясь в пламенную злобу. Над толпой колыхалась туча копоти и пыли, облитые потом лица горели, кожа щёк плакала чёрными слезами. На тёмных лицах сверкали глаза, блестели зубы.

Там, где стояли Сизов и Махотин, появился Павел, и прозвучал его крик:

— Товарищи!

Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дрожат; она невольно двинулась вперёд, расталкивая толпу. Ей говорили раздражённо:

— Куда лезешь?

Толкали её. Но это не останавливало мать; раздвигая людей плечами и локтями, она медленно протискивалась всё ближе к сыну, повинувшись желанию стать рядом с ним.

А Павел, выбросив из груди слово, в которое он привык вкладывать глубокий и важный смысл, почувствовал, что горло ему сжала спазма боевой радости; охватило желание бросить людям своё сердце, зажжённое огнём мечты о правде.

— Товарищи! — повторил он, черпая в этом слове восторг и силу. — Мы — те люди, которые строят церкви и фабрики, куёт цепи и деньги, мы — та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пелёнок до гроба...

— Вот! — крикнул Рыбин.

— Мы всегда и везде — первые в работе и на последнем месте в жизни. Кто заботится о нас? Кто хочет нам добра? Кто считает нас людьми? Никто!

— Никто! — отозвался, точно эхо, чей-то голос.

Павел, овладевая собой, стал говорить проще, спокойнее, толпа медленно подвигалась к нему, складываясь в тёмное тысячеглавое тело. Она смотрела в

его лицо сотнями внимательных глаз, всасывала его слова.

— Мы не добьемся лучшей доли, откуда не почувствуем себя товарищами, семьей друзей, крепко связанных одним желанием — желанием бороться за наши права.

— Говори о деле! — грубо закричали где-то рядом с матерью.

— Не мешай! — негромко раздалось два возгласа в разных местах.

Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо; десятки глаз смотрели в лицо Павла серьезно, вдумчиво.

— Социалист, а — не дурак! — заметил кто-то.

— Ух! Смело говорит! — толкнув мать в плечо, сказал высокий кривой рабочий.

— Пора, товарищи, понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам! Один за всех, все за одного — вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!

— Дело говорит, ребята! — крикнул Махотин.

И, широко взмахнув рукой, он потряс в воздухе кулаком.

— Надо вызвать директора! — продолжал Павел.

По толпе точно вихрем ударило. Она закачалась, и десятки голосов сразу крикнули:

— Директора сюда!

— Депутатов послать за ним!

Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх, полная гордости: Павел стоял среди старых, уважаемых рабочих, все его слушали и соглашались с ним. Ей нравилось, что он не злится, не ругается, как другие.

Точно град на железо, сыпались отрывистые восклицания, ругательства, злые слова. Павел смотрел на людей сверху и искал среди них чего-то широко открытыми глазами.

— Депутатов!

— Сизова!

— Власова!

— Рыбина! У него зубы страшные!

Вдруг в толпе раздалось негромкие восклицания:

— Сам идет!..

— Директор!..

Толпа расступилась, давая дорогу высокому человеку с острой бородкой и длинным лицом.

— Позвольте! — говорил он, отстраняя рабочих с своей дороги коротким жестом руки, но не дотрагиваясь до них. Глаза у него были прищурены, и взглядом опытного владыки людей он испытующе щупал лица рабочих. Перед ним снимали шапки, кланялись ему, — он шёл, не отвечая на поклоны, и сеял в толпе тишину, смущение, конфузливые улыбки и негромкие восклицания, в которых уже слышалось раскаяние детей, сознающих, что они нашалили.

Вот он прошёл мимо матери, скользнув по её лицу строгими глазами, остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку — он не взял её, свободно, сильным движением тела влез наверх, встал впереди Пávла и Сизова и спросил:

— Это — что за сборище? Почему бросили работу?

Несколько секунд было тихо. Головы людей покачивались, точно колосья. Сизов, махнув в воздухе картузом, повёл плечами и опустил голову.

— Я спрашиваю! — крикнул директор.

Пávел встал рядом с ним и громко сказал, указывая на Сизова и Рыбина:

— Мы трое уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили своё распоряжение о вычете копёйки...

— Почему? — спросил директор, не взглянув на Пávла.

— Мы не считаем справедливым такой налог на нас! — громко сказал Пávел.

— Вы что же, в моём намерении осушить болото видите только желание эксплуатировать рабочих, а не работу об улучшении их быта? Да?

— Да! — ответил Пávел.

— И вы тоже? — спросил директор Рыбина.

— Все одинаково! — ответил Рыбин.

— А вы, почтенный? — обратился директор к Сизову.

— Да и я тоже попрошу: уж вы оставьте копеечку-то при нас!

И, снова наклонив голову, Сизов виновато улыбнулся.

Директор медленно обвёл глазами толпу, пожал плечами. Потом испытующе оглядел Пávла и заметил ему:

— Вы кажетесь довольно интеллигентным человеком — неужели и вы не понимаете пользу этой меры?

Пávел громко ответил:

— Если фабрика осушит болото за свой счёт — это все поймут!

— Фабрика не занимается филантропией! ¹ — сухо заметил директор. — Я приказываю всем немедленно стать на работу!

И он начал спускаться вниз, осторожно ощупывая ногой железо и не глядя ни на кого.

В толпе раздался недовольный гул.

— Что? — спросил директор, остановясь.

Все замолчали, только откуда-то издали раздался одинокий голос:

— Работай сам!..

— Если через пятнадцать минут вы не начнёте работать — я прикажу записать всем штраф! — сухо и внятно ответил директор.

Он снова пошёл сквозь толпу, но теперь сзади него возникал глухой ропот, и чем глубже уходила его фигура, тем выше поднимались крики.

ХIII

...Ночью, когда она спала, а он, лёжа в постели, читал книгу, явились жандармы и сердито начали рыться везде, на дворе, на чердаке. Желтолицый офицер вёл себя так же, как и в первый раз, — обидно, насмешливо, находя удовольствие в издевательствах, стараясь задеть за сердце. Мать, сидя в углу, молчала, не отрывая глаз от лица сына. Он старался не выдавать своего волнения, но, когда офицер смеялся, у него странно шевелились пальцы, и она чувствовала, что ему трудно не отвечать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь ей не было так страшно, как во время первого обыска, она чувствовала больше ненависти к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть поглощала тревогу.

Павел успел шепнуть ей:

— Меня возьмут...

Она, наклонив голову, тихо ответила:

— Понимаю...

Она понимала — его посадят в тюрьму за то, что он

¹ Ф и л а н т р о п и я — благотворительность, помощь бедным.

говорил сегодня рабочим. Но с тем, что он говорил, соглашались все, и все должны вступить за него, значит — долго держать его не будут...

Ей хотелось обнять его, заплакать, но рядом стоял офицер и, прищурив глаза, смотрел на неё. Губы у него вздрагивали, усы шевелились — Власовой казалось, что этот человек ждёт её слёз, жалоб и просьб. Собрав все силы, стараясь говорить меньше, она сжала руку сына и, задерживая дыхание, медленно, тихо сказала:

— До свиданья, Паша. Всё взял, что надо?

— Всё. Не скучай...

— Христос с тобой...

Когда его увели, она села на лавку и, закрыв глаза, тихо завyla. Опираясь спиной о стену, как, бывало, делал её муж, туго связанная тоской и обидным сознанием своего бессилия, она, закинув голову, выла долго и односторонне, выливая в этих звуках боль раненого сердца. А перед ней неподвижным пятном стояло жёлтое лицо с редкими усами, и прищуренные глаза смотрели с удовольствием. В груди её чёрным клубком свивалось ожесточение и злоба на людей, которые отнимают у матери сына за то, что сын ищет правду.

Было холодно, в стекла стучал дождь, казалось, что в ночь вокруг дома ходят, подстерегая, серые фигуры с широкими красными лицами без глаз, с длинными руками. Ходят и чуть слышно звякают шпорами.

«Взяли бы и меня», — думала она.

Провыл гудок, требуя людей на работу. Сегодня он был глухо, низко и неуверенно. Отворилась дверь, вошёл Рыбин. Он встал перед ней и, стирая ладонью капли дождя с бороды, спросил:

— Увели?

— Увели, проклятые! — вздохнув, ответила она.

— Такое дело! — сказал Рыбин, усмехнувшись. — И меня — обыскали, ощупали, да-а. Изругали... Ну — не обидели однако. Увели, значит, Павла! Директор мигнул, жандарм кивнул, и — нет человека? Они дружно живут. Одни народ доят, а другие — за рог держат...¹

¹ Одни народ доят, а другие за рог держат — здесь в смысле: одни (капиталисты и помещики) отнимают у рабочих и крестьян их труд, их достоинство, используют народ как дойную корову; другие (полиция, жандармы, войско, весь государственный порядок при царизме) насильственно держат народ в подчинении у капиталистов и помещиков.

— Вам бы вступиться за Пávла-то! — воскликнула мать, вставáя. — Ведь он рáди всех пошёл.

— Кому́ вступиться? — спросил Рыбин.

— Всем!

— Ишь — ты! Нет, этого не случится.

Усмехáясь, он вышел своёй тяжёлой походкой, увеличив горе матери суровой безнадёжностью своих слов.

«Вдруг — бить будут, пытáть?..»

Она представляла себе тéло сына, избíтое, изóрванное, в крови, и страх холодной глыбой ложился на грудь, давил её. Глазám было бóльно.

Она не топíла печь, не вари́ла себе обéд и не пи́ла ча́я, то́лько пóздно вéчером съела кусóк хлéба. И когдá леглá спать — ей думалось, что никогдá ещё жизнь её не былá такой оди́нкой, гóлой. За послéдние гóды она привы́кла жить в постоянном ожидáнии чегó-то вáжного, дóброго. Вокрúг неё шúмно и бóдро вертéлась молодёжь, и всегдá перед нёю стояло серьёзное лицó сына, творцá этой тревóжной, но хоро́шей жízни. А вот нет его, и — ничегó нет.

XIV

Мéдленно прошёл день, бессóнная ночь и ещё бóлее мéдленно другóй день. Она ждалá когó-то, но никто не явлáлся. Наступил вéчер. И — ночь. Вздыхáл и шáркал по стенé холóдный дождь, в трубé гудéло, под пóлом возйлось чтó-то. С кры́ши кáпала водá, и уны́лый звук её падéния стрáнно сливáлся со стúком часóв. Казáлось, весь дом тíхо качáется, и всё вокрúг было ненúжным, омертвéло в тоскé...

В окнó тíхо стúкнули — раз, два... Она привы́кла к этим стúкам, онí не пугáли её, но тепérь вздрóгнула от рáдостного уколá в сёрдце. Смúтная надéжда бýстро подня́лá её нá ноги. Бросив на плéчи шаль, она открýла дверь...

Вошёл Самóйлов, а за ним ещё какóй-то человек, с лицóм, закрь́тым воротникóм пальтó, в надв́инутой на брови ша́пке.

— Разбудили мы вас? — не здоровáясь, спросил Самóйлов, прóтив обыкновéния озабóченный и хмýрый.

— Не спалá я! — отвéтила она́ и мо́лча, ожида́ющими гла́зами уста́вилась на них.

Спúтник Само́йлова, тяжело́ и хри́пло вздыха́я, снял ша́пку и, протяну́в ма́тери широ́кую ру́ку с корóткими па́льцами, сказа́л ей дру́жески, как ста́рой знако́мой:

— Здра́вствуйте, мама́ша! Не узна́ли?

— Это вы? — восклицнула Влáсова, вдруг чему́-то ра́дуясь. — Егóр Ива́нович?

— Аз есмь!¹ — отвéтил он, наклоня́я свою́ большúю го́лову с дли́нными, как у псалóмщика², волосáми. Егó по́льное лицó добродúшно улыба́лось, ма́ленькие се́рые гла́зки смотре́ли в лицó ма́тери ла́сково и я́сно. Он был похо́ж на самовáр, — тако́й же кру́глый, низе́нький, с то́лстой ше́ей и корóткими рука́ми. Лицó лосни́лось и блестя́ло, дыша́л он шу́мно, и в груди́ всё вре́мя что́-то булькало, хрипéло...

— Пройдите́ в ко́мнату, я сейча́с одéнусь! — предло́жила мать.

— У нас к вам де́ло есть! — озабо́ченно сказа́л Само́йлов, исподло́бья взгляну́в на неё.

Егóр Ива́нович прошёл в ко́мнату и оттúда говори́л:

— Сего́дня у́тром, ми́лая мама́ша, из тюрьмы́ вы́шел изве́стный вам Никола́й Ива́нович...

— Ра́зве он там? — спроси́ла мать.

— Два ме́сяца и оди́ннадцать дней. Ви́дел там хохла́ — он кла́няется вам, и Па́влу, кото́рый — то́же кла́няется, про́сит вас не беспоко́иться и сказа́ть вам, что на пу́ти егó ме́стом о́тдыха челове́ку всегда́ слúжит тюрьма́ — так уж устано́влено заботливым нача́льством на́шим. Затём, мама́ша, я присту́плю к де́лу. Вы зна́ете, ско́лько наро́ду схвати́ли здесь вчера́?

— Нет! А ра́зве — крóме Па́ши? — восклицнула мать.

— Он — со́рок девя́тый! — переби́л её Егóр Ива́нович споко́йно. — И на́до ждать, что нача́льство заберёт ещё́ челове́к с деся́ток! Вот э́того господи́на то́же...

— Да, и меня́! — хму́ро сказа́л Само́йлов.

Влáсова почу́вствовала, что ей ста́ло лёгче дыша́ть...

«Не оди́н он там!» — мелькну́ло у неё в голо́ве.

Оде́вшись, она́ вошла́ в ко́мнату и бо́дро улыба́лась го́стю.

¹ Аз есмь (церковное) — это я.

² Псаломщик — дьячок, служитель церкви.

— Навѣрно, долго держать не будут, если так много забрали...

— Правильно! — сказал Егор Иванович. — А если мы ухитримся испортить им эту обедню¹, так они и совсем в дураках останутся. Дело стоит так: если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки² уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павла со товарищи, иже с ним ввергнуты в узилище...³

— Как же это? — тревожно крикнула мать.

— А очень просто! — мягко сказал Егор Иванович. — Иногда и жандармы рассуждают правильно. Вы подумайте: был Павел — были книжки и бумажки, нет Павла — нет ни книжек, ни бумажек! Значит, это он сеял книжечки, агá-а? Ну, и начнут они есть всех, — жандармы любят так окорнать человека, чтобы от него остались одни пустяки!..

— Я понимаю, понимаю! — тоскливо сказала мать. — Ах, господи! Как же теперь?

Из кухни раздался голос Самойлова:

— Всех почти выловили, — чёрт их возьми!.. Теперь нам нужно дело продолжать по-прежнему, не только для дела, а и для спасения товарищей.

— А — работать некому! — добавил Егор, усмехаясь. — Литература у нас есть превосходного качества — сам делал!.. А как её на фабрику внести — неизвестно!

— Стали обыскивать всех в воротах! — сказал Самойлов.

Мать чувствовала, что от неё чего-то хотят, ждут, и торопливо спрашивала:

— Ну, так что же? Как же?

Самойлов встал в дверях и сказал:

— Вы, Пелагея Ниловна, знакомы с торговкой Корсуновой...

— Знакома, ну?

¹ Испортить им эту обедню — помешать им в этом деле, не дать им торжествовать (обедня — церковная служба).

² Жандармишки; жандармы — служащие царской охранной полиции.

³ Иже с ним ввергнуты в узилище (церковное) — которые вместе с ним посажены в тюрьму (иже — которые; узилище — тюрьма).

— Поговорите с ней, не пронесёт ли она?

Мать отрицательно замахала руками.

— Ой, нет! Баба она болтливая,— нет! Как узнают, что через меня,— из этого дома,— нет, нет!

И вдруг, осенённая внезапной мыслью, она тихо заговорила:

— Вы мне дайте, дайте — мне! Уж я устрою, я сама найду ход! Я Марью же и попрошу — пусть она меня в помощницы возьмёт! Мне хлеб есть надо, работать надо же! Вот я и буду обеды туда носить! Уж я устроюсь!

Прижав руки к груди, она торопливо уверяла, что сделает всё хорошо, незамётно, и в заключение, торжествуя, воскликнула:

— Они увидят — Павла нет, а рука его даже из острога достигает,— они увидят!..

XV

...В полдень она спокойно и деловито обложила свою грудь книжками и сделала это так ловко и удобно, что Егор с удовольствием щёлкнул языком, заявив:

— Зер гут!¹ как говорит хороший немец, когда выпьет ведро пива. Вас, мамаша, не изменила литература: вы остались доброй, пожилой женщиной, полной и высокого роста. Да благословят бесчисленные боги ваше начинание!..

Через полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и уверенная, она стояла у ворот фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмешками рабочих, грубо ощупывали всех входящих во двор, переругиваясь с ними. В стороне стоял полицейский и тонконогий человек с красным лицом, с быстрыми глазами. Мать, передвигая коромысло с плеча на плечо, исподлобья следила за ним, чувствуя, что это шпион.

Высокий, кудрявый парень в шапке, сдвинутой на затылок, кричал сторожам, которые обыскивали его:

— Вы, черти, в голове ищите, а не в кармане!

Один из сторожей ответил:

— У тебя в голове, кроме вшей, ничего нет...

¹ З е р г у т! (немецкое) — Очень хорошо!

— Вам и ловить вшей, а не ершей! — откликнулся рабóчий.

Шпион окинул его быстрым взглядом и сплюнул.

— Меня-то пропустили бы! — попросила мать. — Видите, человек с ношей, спина ломится!

— Иди, иди! — сердито крикнул сторож. — Рассуждает тоже...

Мать дошла до своего места, составила корчаги¹ на землю и, отирая пот с лица, оглянулась.

К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы и старший, Василий, хмуря брови, громко спросил:

— Пирог есть?

— Завтра принесу! — ответила она.

Это был условленный пароль. Лица братьев просветлели. Иван, не утерпев, воскликнул:

— Эх ты, мать честная...

Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу, и в то же время за пазухой у него очутилась пачка листовок.

— Иван, — громко говорил он, — не пойдём домой, давай у неё обедать! — А сам быстро засовывал книжки в голенища сапог. — Надо поддержать новую торговку...

— Надо, — согласился Иван и захохотал.

Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала:

— Щи, лапша горячая!

И, незаметно вынимая книги, пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из её рук, перед нею вспыхивало жёлтым пятном, точно огонь спички в тёмной комнате, лицо жандармского офицера, и она мысленно со злорадным чувством говорила ему:

«На-ко тебе, батюшка...»

Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворённо:

«На-ко...»

Подходили рабочие с чашками в руках; когда они были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу, а Гусевы шутили над ней:

— Ловко действует Ниловна!

¹ К о р ч а г а — большой глиняный или чугунный сосуд в форме горшка.

— Нужда заставит и мышёй ловить! — угрюмо заметил какой-то кочегар. — Кормильца-то — оторвали. Сволочи! Ну-ка, на три копейки лапши. Ничего, мать! Перебьешься.

— Спасибо на добром слове! — улыбнулась она ему. Он, уходя, в сторону ворчал:

— Не дорого мне стоит доброе-то слово...

Власова покрывала:

— Горячее — щи, лапша, похлёбка...

И думала о том, как расскажет сыну свой первый опыт, а перед нею всё стояло жёлтое лицо офицера, недоумевающее и злое. На нём растерянно шевелились чёрные усы, и из-под верхней, раздражённо вздёрнутой губы блестела белая кость крепко сжатых зубов. В груди её птицею пела радость, брови лукаво вздрагивали, и она, ловко делая своё дело, приговаривала про себя:

— А вот — ещё!..

XXI

...Она аккуратно носила на фабрику листочки, смотрела на это как на свою обязанность и стала привычной для сыщиков, примелькалась им. Несколько раз её обыскивали, но всегда — на другой день после того, как листочки появлялись на фабрике. Когда с нею ничего не было, она умела возбудить подозрение сыщиков и сторожей, они хватали её, общаривали, она притворялась обиженной, спорила с ними и, пристыдив, уходила, гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта игра...

XXII

Однажды в праздник мать пришла из лавки, открыла дверь и встала на пороге, вся вдруг облитая радостью, точно тёплым, летним дождём, — в комнате звучал крепкий голос Пávла.

— Вот она! — крикнул хохол.

Мать видела, как быстро обернулся Пávел, и видела, что его лицо вспыхнуло чувством, обещавшим что-то большое для неё.

— Вот и пришёл... и дома! — забормотала она, растерявшись от неожиданности, и села.

Он наклонился к ней блédный, в углах его глаз светлó сверкали маленькие слезинки, губы вздрагивали. Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча.

Хохол, тихо насвистывая, прошёл мимо них, опустив голову, и вышел на двор.

— Спаси́бо, ма́ма! — глубо́ким, низ́ким го́лосом заговорил Па́вел, тиская её ру́ку вздрагивающими па́льцами.— Спаси́бо, родна́я!

Ра́достно потрясённая выраже́нием лица́ и зву́ком го́лоса сы́на, она́ гла́дила его́ го́лову и, сде́рживая би́ение се́рдца, тихо́нько говори́ла:

— Хри́сто́с с тобо́й! За что?..

— За то, что помога́ешь вели́кому на́шему де́лу, спаси́бо! — говори́л он.— Когда́ челове́к мо́жет назва́ть мать свою́ и по ду́ху родно́й — э́то ре́дкое сча́стье!

Она́ молча, жа́дно глота́я его́ слова́ откры́тым се́рдцем, любова́лась сы́ном,— он стоя́л перед не́ю тако́й све́тлый, бли́зкий.

XXVI

...На рассвете вы́л фаб́ричный гудо́к, сын и Андре́й на́скоро пи́ли чай, заку́сывали и уходили, оставля́я ма́тери деся́ток поруче́ний. И це́лый день она́ кружи́лась, как бе́лка в колесе́¹, вари́ла обе́д, вари́ла лило́вый сту́день для проклама́ций и клей для них, приходи́ли какие́-то лю́ди, сова́ли запи́ски для пере́дачи Па́влу и исчеза́ли, заража́я её своим возбужде́нием.

Листки́, призы́вавшие рабо́чих пра́здновать Пе́рвое ма́я, почти́ ка́ждую ночь накле́ивали на забора́х, они́ явля́лись да́же на дверя́х полице́йского пра́вления, их ка́ждый день находи́ли на фаб́рике. По утра́м поли́ция, руга́ясь, ходи́ла по слободе́, срыва́я и соска́бливая лило́вые бума́жки с заборо́в, а в обе́д они́ сно́ва лета́ли на у́лице, подка́тываясь по́д ноги прохо́жих. Из го́рода при́слали сы́щиков, они́, сто́я на угла́х, щу́пали глаза́ми рабо́чих, ве́село и оживлё́нно проходивших с фаб́рики на обе́д и обрат́но. Всем нра́вилось ви́деть бесси́лие поли́ции,

¹ Кружи́лась, как бе́лка в колесе́ — не переста́вая хлопотала́, суе́тилась, дви́галась.

и да́же пожи́лые рабо́чие, усмеха́ясь, говори́ли друг дру́гу:

— Что де́лают, а?

Всю́ду собира́лись кучки люде́й, горячо́ обсужда́я волну́ющий призы́в. Жизнь вскипа́ла, она́ в э́ту весну́ для всех была́ интере́снее, всем неслá что́-то но́вое, одни́м — ещё причи́ну раздража́ться, зло́бно руга́я крамо́льников, други́м — сму́тную трево́гу и наде́жду, а тре́тьим, — их бы́ло меньшинство́, — о́струю ра́дость сознáния, что э́то они́ явля́ются си́лой, кото́рая бу́дит всех.

Па́вел и Андре́й почти́ не спáли по но́чам, явля́лись домо́й уже́ перед гудко́м, оба́ уста́лые, охри́пшие, бле́дные. Ма́ть зна́ла, что они́ устраи́вают собра́ния в лесу́, на боло́те, ей бы́ло изве́стно, что вокру́г слободы́ по но́чам ры́скают разъезды́ ко́нной поли́ции, по́лзают сы́щики, хвата́я и обы́скивая отде́льных рабо́чих, разгоня́я гру́ппы и поро́ю аресто́уя того́ или́ друго́го. Понима́я, что и сы́на с Андре́ем то́же мо́гут аресто́вать ка́ждую но́чь, она́ почти́ желáла э́того — э́то бы́ло бы лу́чше для них, ка́зало́сь ей...

XXVII

Когда́ она́ вы́шла на у́лицу и услы́хала в во́здухе гу́л людских́ голосо́в, трево́жный, ожида́ющий, когда́ уви́дала вездé в о́кнах домо́в и у воро́т гру́ппы люде́й, провожа́вшие её сы́на и Андре́я любопы́тными взгля́дами, — в глаза́х у неё вста́ло тумáнное пятно́ и заколыхáлось, меня́я цвета́, то прэзра́чно-зеле́ное, то му́тно-се́рое.

С ни́ми здоро́вались, и в привéтствиях бы́ло что́-то о́собенное. Слух её́ лови́л отрыви́стые, негро́мкие замеча́ния:

— Вот они́, воево́ды... ¹

— Нам не изве́стно, кто воево́дит... ²

— Да ведь я ниче́го худо́го не говори́ю!..

В друго́м ме́сте на дво́ре кто́-то крича́л раздражённо:

— Перелови́т их поли́ция — они́ и пропаду́т!..

— Лови́ла!

Вою́щий го́лос же́нщины испугáнно пры́гал из о́кна на у́лицу:

¹ Воево́да — здесь: вождь, руководи́тель.

² Воево́дитъ — вести́, руководи́ть.

— Опóмнись! Что ты, холостóй, что ли?

Когда проходили мимо дóма безнóгого Зосíмова, который получáл с фáбрики за своё увéчье ежемéсячное посóбие, он, вы́сунув гóлову из окнá, закричáл:

— Пáшка! Сверну́т тебе́ гóлову, подлецу́, за твой де-ла́, дождёшься!

Ма́ть вздро́гнула, остано́вилась. Э́тот крик вы́звал в ней о́строе чу́вство злóбы. О́на взгляну́ла в опу́хшее, то́лстое ли́цо кале́ки, он спря́тал гóлову, руга́ясь. Тогда́ о́на, ускóрив шаг, догна́ла сы́на и, стара́ясь не отстава́ть от него́, пошла́ сле́дом.

Па́вел и Андре́й, каза́лось, не замеча́ли ниче́го, не слы́шали во́згласов, кото́рые провожа́ли их. Шли споко́йно, не торо́пясь. Вот их остано́вил Мирóнов, пожило́й и скро́мный челове́к, все́ми уважа́емый за свою́ трéзвую, чи́стую жизнь.

— То́же не рабо́таете, Дани́ло Ива́нович? — спроси́л Па́вел.

— У меня́ — жена́ на сно́сях. Ну, и день тако́й, беспокóйный! — объясни́л Мирóнов, приста́льно разгля́дывая това́рищей, и негро́мко спроси́л:

— Вы, ребята́, говоря́т, сканда́л дире́ктору хоти́те де-лать, стёкла́ бить ему́?

— Ра́зве мы пья́ные? — воскли́кнул Па́вел.

— Мы прóсто пройде́м по у́лице с фла́гами и пе́сни бу́дем петь! — сказа́л хохóл. — Вот послу́шайте на́ши пе́сни — в них на́ша ве́ра!

— Ве́ру ва́шу я зна́ю! — задум́чиво сказа́л Мирóнов. — Бума́ги э́ти чита́л. Ба, Ни́ловна! — воскли́кнул он, улыба́ясь ма́тери у́мными глаза́ми. — И ты бунтова́ть пошла́?

— На́до хоть перед сме́ртью ря́дом с пра́вдой погу-ля́ть!

— Ишь ты! — сказа́л Мирóнов. — Ви́дно, ве́рно про теб́я́ говоря́т, что ты на фáбрику запрещё́нные кни́жки носи́ла!

— Кто э́то говоря́т? — спроси́л Па́вел.

— Да уж — говоря́т! Ну, проща́йте, держи́тесь со-ли́днее!

Ма́ть т́ихо смея́лась, ей бы́ло прия́тно, что про не́е так говоря́т. Па́вел сказа́л ей, усме́хаясь:

— Бу́дешь ты в тюрё́ме, ма́ма!

Со́лнце поднимáлось всё вы́ше, влива́я своё тепло́ в

бодрую све́жесть ве́шнего дня. Облака́ плы́ли ме́дленнее, те́ни их ста́ли то́ньше, прозра́чнее. О́ни мя́гко полз́ли по у́лице и по крь́шам до́мов, оку́тывали люде́й и то́чно чи́стили слободу́, стира́я грязь и пы́ль со стен и крьш, ску́ку с лиц. Станови́лось веселе́е, голо́са звуча́ли грóмче, заглуша́я да́льний шум возни́ машин.

Сно́ва в у́ши ма́тери отовсю́ду, из о́кон, со дворо́в, полз́ли и летели́ слова́ трево́жные и злы́е, вдумчи́вые и весёлы́е. Но тепе́рь ей хоте́лось возража́ть, благода́рить, объясни́ть, хоте́лось вмеша́ться в стра́нно пе́струю жизнь э́того дня.

За углу́м у́лицы, в у́зком переу́лке, собралась толпа́ челове́к во сто, и в глубине́ её раздава́лся го́лос Весовщи́кова.

— Из нас жмут кровь, как сок из клю́квы! — па́дали на го́ловы люде́й неуклю́жие слова́.

— Ве́рно! — отве́тило не́сколько голо́сов сразу гу́лким зву́ком.

— Ста́рается хло́пец!¹ — сказа́л хохóл. — А ну, пойду́, помогу́ ему́!..

Он изогну́лся и, пре́жде чем Па́вел успе́л остано́вить его́, верну́л в толпу́, как што́пор в про́бку, своё дли́нное, гибкое те́ло. Разда́лся его́ певу́чий го́лос:

— Товари́щи! Говора́т, на земле́ ра́зные наро́ды живу́т — евре́и и не́мцы, англича́не и тата́ры. А я — в э́то не ве́рю! Есть то́лько два наро́да, два пле́мени неприми́мых — бога́тые и бе́дные! Лю́ди ра́зно одева́ются и ра́зно говора́т, а погляди́те, как бога́тые францу́зы, не́мцы, англича́не обраща́ются с рабо́чим наро́дом, так и уви́дите, что все о́ни для рабо́чего — то́же башибузу́ки², кость им в го́рло!

В толпе́ засмея́лся кто́-то.

— А с друго́го бо́ка взгля́нем — так уви́дим, что и францу́з рабо́чий, и тата́рин, и ту́рок — такóй же соба́чьей жи́знию живу́т, как и мы, ру́сский рабо́чий наро́д!

С у́лицы всё бо́льше подходи́ло наро́да, и о́дин за друго́м лю́ди мо́лча, вытя́гивая ше́и, поднима́ясь на носки́, вти́скивались в переу́лок.

Андре́й по́днял го́лос вы́ше.

— За гра́ницей рабо́чие уже́ по́няли э́ту просту́ю и́стину, и сего́дня, в све́тлый день Пе́рвого ма́я...

¹ Хло́пец — па́рень.

² Башибузу́к — здесь: головорез, разбойник.

— Полиция! — крикнул кто-то.

С улицы в проулок прямо на людей ёхали, помахая плётками, четверо конных полицейских и кричали:

— Разойдись!

Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям. Некоторые влезали на заборы.

— Посадили свиней на лошадей, а они хрюкают — вот и мы воеводы! — кричал чей-то звонкий, задорный голос.

Хохол остался один посредине проулка, на него, мотая головами, наступали две лошади. Он подался в сторону, и в то же время мать, схватив его за руку, потащила за собой, ворча:

— Обещал вместе с Пашей, а сам лезет на рожон¹ один!

— Виноват! — сказал хохол, улыбаясь.

Ниловою овладела тревожная, разламывающая усталость, она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя в сердце печаль и радость. Хотелось, чтобы скорей закричал обеденный гудок.

Вышли на площадь, к церкви. Вокруг неё в ограде густо стоял и сидел народ, здесь было сотен пять весёлой молодёжи и ребятшек. Толпа колыхалась, люди беспокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное, некоторые смотрели растерянно, другие вели себя с показным удалством. Тихо звучали подавленные голоса женщин, мужчины с досадой отвертывались от них, порою раздавалось негромкое ругательство. Глухой шум враждебного трения обнимал пёструю толпу.

— Митенька! — тихо дрожал женский голос. — Пожалей себя!..

— Отстань! — прозвенело в ответ.

А степенный голос Сизова говорил спокойно, убедительно:

— Нет, нам молодых бросать не надо! Они стали разумнее нас, они живут смелее! Кто болотную копейку отстоял? Они! Это нужно помнить. Их за это по тюрьмам таскали, — а выиграли от того все!..

Заревел гудок, поглотив своим чёрным звуком люд-

¹ Лезть на рожон — действовать, не считаясь ни с какими препятствиями (ро ж он — острый кол).

скѡй гѡвор. Толпá дрогнула, сидѣвшіе встáли, на миnúту всё зáмерло, настсрожілось, и мно́го лиц побледнёло.

— Товáрищи! — раздáлся гѡлос Пáвла, звúчный и крѣпкий. Сухѡй, горячій тумáн ожѣг глазá мáтери, и онá одním дви́жением вдруг окрѣпшего тѣла встáла сзáди сы́на. Все оберну́лись к Пáвлу, окружáя его́, то́чно кру-пінки желéза кусо́к магніта.

Мать смотре́ла в лицѡ ему́ и ви́дела то́лько глазá, гордые и смѣлые, жгúчие...

— Товáрищи! Мы реші́ли откры́то заявить, кто мы, мы поднима́ем сего́дня нáше знáмя, знáмя рáзума, прáвды, свобѡды!

Дрѣвко, бѣлое и дли́нное, мелькну́ло в вѡздухе, наклоні́лось, разрэзало толпу́, скры́лось в ней, и че́рез ми-ну́ту над по́днятыми квѣрху лица́ми люде́й взметну́лось крáсной птицей ширѡкое полотно́ знáмени рабѡчего на-рѡда.

Пáвел по́днял ру́ку квѣрху — дрѣвко покачну́лось, то-гда́ десяток рук схваті́ли бѣлое глáдкое дѣрево, и среді́ них была́ рука его́ мáтери.

— Да здравствует рабѡчий нарѡд! — крѣкнул он.

Сѡтни гѡлосѡв отозвали́сь ему́ гу́лким крѣком.

— Да здравствует соціáл-демократическая рабѡчая пáртия, нáша пáртия, товáрищи, нáша духовная рѡдина!

Толпá кипѣла, сквозь неё пробивáлись ко знáмени те, кто по́нял его́ значѣние, рядом с Пáвлом станові́лись Мázин, Самѡйлов, Гúсевы; наклонів гѡлову, растáлкивал люде́й Никола́й, и ещё ка́кие-то незнако́мые мáтери лю-ди, молодёе, с горящими глазáми, отта́лкивали её...

— Да здравствуют рабѡчие лю́ди всех стран! — крѣкнул Пáвел. И, всё увели́чиваясь в силе и в рáдости, ему́ отвѣтило тысячеу́стое э́хо потрясáющим ду́шу звúком.

Мать схваті́ла ру́ку Никола́я и ещё чьѡ-то, онá за-дыхáлась от слѣз, но не пла́кала, у неё дрожа́ли нѡги, и трясúщимися губáми онá говори́ла:

— Родные...

По рябѡму лицу́ Никола́я расплы́лась ширѡкая улы́бка, он смотре́л на знáмя и мыча́л что́-то, протя́гивая к нему́ ру́ку, а потѡм вдруг охваті́л мать э́той руко́й за шею́, поцелова́л её и засмея́лся.

— Товáрищи! — запѣл хохѡ́л, покрывáя своимъ мýгким гѡлосом гу́л толпы́. — Мы пошлѣ тепѣ́рь крѣстнымъ хѡдом во і́мя бѡга но́вого, бѡга свѣта и прáвды, бѡга рáзума и

добра! Далеко от нас наша цель, терновые венцы¹ — близко! Кто не верит в силу правды, в ком нет смелости до смерти стоять за неё, кто не верит в себя и боится страданий — отходи от нас в сторону! Мы зовём за собой тех, кто верует в победу нашу; те, которым не видна наша цель, — пусть не идут с нами, таких ждёт только горе. В ряды, товарищи! Да здравствует праздник свободных людей! Да здравствует Первое мая!

Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем, оно распласталось в воздухе и поплыло вперёд, озарённое солнцем, красно и широко улыбаясь...

Отречёмся от старого мира...

— раздался звонкий голос Фёды Мазина, и десятки голосов подхватили мягкой, сильной волной:

Отрясём его прах с наших ног!..

Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина и через голову его смотрела на сына и на знамя. Вокруг неё мелькали радостные лица, разноцветные глаза, — впереди всех шёл её сын и Андрей. Она слышала их голоса, — мягкий и влажный голос Андрея дружно сливался в один звук с голосом сына её, густым и басовитым.

Вставай, подымайся, рабочий народ,

Вставай на борьбу, люд голодный!..

И народ бежал встречу красному знамени, он что-то кричал, сливался с толпой и шёл с нею обратно, и крики его гасли² в звуках песни, — той песни, которую дома пели тише других, — на улице она текла ровно, прямо, со страшной силой. В ней звучало железное мужество, и, призывая людей в далёкую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжестях пути. В её большом, спокойном пламени плавился тёмный шлак пережитого, тяжёлый ком привычных чувств и сгорала в пепел проклятая боязнь нового...

Что-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядом с матерью, и дрожащий голос, всхлипывая, восклицал:

¹ Терновый венец — здесь: гонения, преследования и наказание за революционную деятельность. (Терновник — низкий колючий кустарник).

² Крики гасли (гаснуть) — крики постепенно затихали.

— Митя! Куда ты?

Мать, не останавливаясь, говорила:

— Пусть идёт,— вы не беспокойтесь! Я тоже очень боялась,— мой вперёд всех. Который несёт знамя — это мой сын!

— Разбойники! Куда вы? Солдаты там!

И, вдруг схватив руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и худая, воскликнула:

— Милая вы моя,— поёт-то как! И Митя поёт...

— Вы не беспокойтесь! — бормотала мать. — Это святое дело... Вы подумайте — ведь и Христа не было бы, если бы его ради люди не погибали!

Эта мысль вдруг вспыхнула в её голове и поразила её своей ясной, простой правдой. Она взглянула в лицо женщины, крепко державшей её руку, и повторила, удивлённо улыбаясь:

— Не было бы Христа-то, если бы люди не погибли его, господу, ради!

Рядом с нею явился Сизов. Он снял шапку, махал ею в такт песне и говорил:

— Открыто пошли, мать, а? Песню придумали. Какая песня, мать, а?

Царю нужны для войска солдаты,
Отдавайте ему сыновей...

— Ничего не бояться! — говорил Сизов. — А мой сын — нок в могиле...

Сердце матери забилось слишком сильно, и она начала отставать. Её быстро оттолкнули в сторону, притиснули к забору, и мимо неё, колыхаясь, потекла густая волна людей — их было много, и это радовало её.

Вставай, подымайся, рабочий народ!..

Казалось, в воздухе поёт огромная медная труба, поёт и будит людей, вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство, там — возбуждая смутный трепет надежд, здесь — открывая выход ёдкому потоку годами накопленной злобы. Все заглядывали вперёд, где качалось и реяло в воздухе красное знамя.

— Пошли! — ревел чей-то восторженный голос. — Славно, ребята!

И, видимо, чувствуя что-то большее, чего не мог вы-

разить обычными словами, человек ругался крепкой руганью. Но и злоба, тёмная, слепая злоба раба, шипела змеей, извиваясь в злых словах, встревоженная светом, упавшим на неё.

— Еретики! — грозя кулаком, кричал из окна надбравный голос.

И назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий визг:

— Против государь-императора, против его величества царя? Бунтовать?

Мимо матери мелькали смятенные лица, подпрыгивая пробегали мужчины, женщины, лился ¹ народ тёмной лавой, влекомый этой песней, которая напором звуков, казалось, опрокидывала перед собой всё, расчищая дорогу. Глядя на красное знамя вдали, она — не видя — видела лицо сына, его бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнём веры.

Но вот она в хвосте толпы, среди людей, которые шли не торопясь, равнодушно заглядывая вперёд, с холодным любопытством зрителей, которым заранее известен конец зрелища. Шли и говорили негромко, уверенно.

— Одна рота у школы стоит, а другая у фабрики...

— Губернатор приехал...

— Верно?

— Сам видел — приехал!

Кто-то радостно выругался и сказал:

— Всё-таки бояться стали нашего брата! И войско и губернатор.

«Родные!» — билось в груди матери.

Но слова вокруг неё звучали мертво и холодно. Она ускорила шаг, чтобы уйти от этих людей, и ей легко было обогнать их медленный, ленивый ход.

И вдруг голова толпы точно ударилась обо что-то, тело её, не останавливаясь, покачнулось назад с тревожным тихим гулом. Песня тоже вздрогнула, потом полилась быстрее, громче. И снова густая волна звуков опустилась, поползла назад. Голоса выпадали из хора один за другим, раздавались отдельные возгласы, старавшиеся поднять песню на прежнюю высоту, толкнуть её вперёд:

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Иди на врага, люд голодный!..

¹ Л и л с я — здесь: шёл.

Но не было в этом зове общей, слитной уверенности; и уже трепетала в нём тревога.

Не видя ничего, не зная, что случилось вперёд, мать расталкивала толпу, быстро подвигаясь вперёд, а навстречу ей пятились люди, одни — наклонив головы и нахмутив брови, другие — конфузливо улыбаясь, третьи — насмешливо свистя. Она тоскливо осматривала их лица, её глаза молча спрашивали, просили, звали...

— Товарищи! — раздался голос Пávла. — Солдаты такие же люди, как мы. Они не будут бить нас. За что бить? За то, что мы несём правду, нужную всем? Ведь эта правда и для них нужна. Пока они не понимают этого, но уже близко время, когда и они встанут рядом с нами, когда они пойдут не под знаменем грабежей и убийств, а под нашим знаменем свободы. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорее, мы должны идти вперёд. Вперёд, товарищи! Всегда — вперёд!

Голос Пávла звучал твёрдо, слова звенели в воздухе чётко и ясно, но толпа разваливалась, люди один за другим отходили вправо и влево к домам, прислонялись к заборам. Теперь толпа имела форму клина, остриём её был Пávел, и над его головой краснот горело знамя рабочего народа. И ещё толпа походила на чёрную птицу — широко раскинув свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и лететь, а Пávел был её клювом...

XXVIII

В конце улицы, — видела мать, — закрывая выход на площадь, стояла серая стена однообразных людей без лиц. Над плечом у каждого из них холодно и тонко блестели острые полоски штыков. И от этой стены, молчаливой, неподвижной, на рабочих веяло холодом, он упирался в грудь матери и проникал ей в сердце.

Она втиснулась в толпу, туда, где знакомые ей люди, стоявшие вперёд у знамени, сливались с незнакомыми, как бы опираясь на них. Она плотно прижалась боком к высокому бритому человеку, он был кривой и, чтобы посмотреть на неё, круто повернул голову.

— Ты что? Ты чья?.. — спросил он.

— Мать Пávла Власова! — ответила она, чувствуя,

что у неё дрожит под колёнами и нижняя губа невольно опускается.

— Ага! — сказал кривой.

— Товарищи! — говорил Пáвел. — Всю жизнь вперёд — нам нет иной дороги!

Стало тихо, чутко. Знамя поднялось, качнулось и, задумчиво рея над головами людей, плавно двинулось к сёрой стене солдат. Мать вздрогнула, закрыла глаза и ахнула — Пáвел, Андрей, Самойлов и Мázин только четверо оторвались от толпы.

Но в воздухе медленно задрожал светлый голос Фёди Мázина:

Вы жертвою пали...

— запел он.

В борьбе... роковой...

— двумя тяжёлыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули вперёд, дробно ударив ногами землю. И потекла новая песня, решительная и решившаяся.

Вы отдали всё, что могли, за него...

— яркой лентой извивался голос Фёди...

За свободу...

— дружно пели товарищи.

— Ага-а! — злорадно крикнул кто-то в стороне. — Панихиду запели, сукины дети!..

— Бей его! — раздался гневный возглас.

Мать схватилась руками за грудь, оглянулась и увидела, что толпа, раньше густо наполнявшая улицу, стоит нерешительно, мнётся и смотрит, как от неё уходят люди со знаменем. За ними шло несколько десятков, и каждый шаг вперёд заставлял кого-нибудь отскакивать в сторону, точно путь посреди улицы был раскалён, жёг подошвы.

Падёт произвол...¹

— пророчила песня в устах Фёди...

И восстанет народ!

— уверенно и грозно вторил ему хор сильных голосов.

¹ Падёт произвол — здесь: падёт власть самодержавия.

Но сквозь стройное течение её прорывались тихие слова:

— Командует...

— На руку! — раздался резкий крик вперёд.

В воздухе извилисто качнулись штыки, упали и вытянулись встречу знамени, хитро улыбаясь.

— Ма-арш!

— Пошли! — сказал кривой и, сунув руки в карманы, широко шагнул в сторону.

Мать, не мигая, смотрела. Серая волна солдат колыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно двинулась, неся вперёд себя редкий гребень серебристо сверкавших зубьев стали¹. Она, широко шагая, встала ближе к сыну, видела, как Андрей тоже шагнул вперёд Павла и загородил его своим длинным телом.

— Иди рядом, товарищ! — резко крикнул Павел.

Андрей пел, руки у него были сложены за спиной, голову он поднял вверх. Павел толкнул его плечом и снова крикнул:

— Рядом! Не имеешь права! Вперёд — зная!

— Ра-азойтись! — тонким голосом кричал маленький офицерик, размахивая белой саблей. Ноги он поднимал высоко и, не сгибая в коленях, задорно стучал подошвами о землю. В глаза матери бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него тяжело шёл рослый бритый человек, с толстыми седыми усами, в длинном сером пальто на красной подкладке и с желтыми лампасами² на широких штанах. Он тоже, как хохол, держал руки за спиной, высоко поднял густые седые брови и смотрел на Павла.

Мать видела необъятно много, в груди её неподвижно стоял громкий крик, готовый с каждым вздохом вырваться на волю, он душил её, но она сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Её толкали, она качалась на ногах и шла вперёд без мысли, почти без сознания. Она чувствовала, что людей сзади неё становится всё меньше, холодный вал³ шёл им навстречу и разносил их.

Всё ближе сдвигались люди красного знамени и плот-

¹ Гребень серебристо сверкавших зубьев стали — ружья со стальными штыками.

² Лампасы — широкие цветные нашивки вдоль брюк.

³ Вал — здесь: цепь солдат.

ная цепь серых людей, ясно было видно лицо солдат — широкое во всю улицу, уродливо сплюснутое в грязно-жёлтую узкую полосу, — в неё были неровно вкраплены разноцветные глаза, а перед нею жестоко сверкали тонкие острия штыков. Направляясь в груди людей, они, ещё не коснувшись их, откалывали одного за другим от толпы, разрушая её.

Мать слышала сзади себя топот бегущих. Подавленные, тревожные голоса кричали:

— Расходи́сь, ребята...

— Вла́сов, беги!..

— Наза́д, Па́влуха!

— Бро́сай зна́мя, Па́вел! — угрюмо сказа́л Весовщи́ков. — Да́й сю́да, я спря́чу!

Он схватил рукой дрёвко, зна́мя покачну́лось наза́д.

— Оста́вь! — крикну́л Па́вел.

Никола́й отде́рнул ру́ку, то́чно её обожгло́. Пёсня пога́сла. Люди остано́вились, плóтно окружа́я Па́влу, но он проби́лся впе́рёд. Наступи́ло молча́ние, вдруг, сра́зу, то́чно оно́ невидимо опу́стилось све́рху и о́бняло людей прозра́чным о́блаком.

Под зна́менем сто́яло челове́к два́дцать, не бо́лее, но о́ни сто́яли твёрдо, притя́гивая ма́ть к себе́ чу́вством стра́ха за них и сму́тным жела́нием что́-то сказа́ть им...

— Возьми́те у него́, пору́чик, э́то! — разда́лся ро́вный го́лос вы́сокого стари́ка.

Протяну́в ру́ку, он указа́л на зна́мя.

К Па́влу подско́чил ма́ленький офице́рик, схвати́лся ру́кой за дрёвко, визгли́во крикну́л:

— Бро́сь!

— Прочь ру́ки! — гро́мко сказа́л Па́вел.

Зна́мя кра́сно дрожа́ло в во́здухе, наклоня́ясь впра́во и вле́во, и сно́ва вста́ло пра́мо — офице́рик отско́чил, сел на зе́млю. Ми́мо ма́тери несво́йственнó бы́стро скользну́л Никола́й, неся́ перед собо́й вы́тянутую ру́ку со сжа́тым кулако́м.

— Взять их! — ря́вкну́л стари́к, то́пнув в зе́млю ного́й.

Не́сколько солда́т вы́скочили впе́рёд. Оди́н из них взмахну́л прикла́дом — зна́мя вздро́гнуло, наклони́лось и исче́зло в се́рой ку́чке солда́т.

— Эх! — тоскли́во крикну́л кто́-то.

И мать закричала звериным, воющим звуком. Но в ответ ей из толпы солдат раздался ясный голос Пávла:

— До свиданья, ма́ма! До свиданья, родна́я...

«Жив! Вспомнил!» — дважды ударило в сердце матери.

— До свиданья, нёнько моя!

Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она старалась увидеть их и видела над головами солдат круглое лицо Андре́я — оно улыбалось, оно кланялось ей.

— Родные мой... Андре́ша!.. Па́ша!.. — кричала она.

— До свиданья, товарищи! — крикнули из толпы солдаты.

Им ответило многократное, разорванное эхо...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XXIV

...Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом, снару́жи по стёклам скользил снег. Между окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно блестящей золотой ра́ме, тяжёлые малиновые драпировки¹ окон прикрывали ра́му с боков прямыми складками. Перед портретом, почти во всю ширину́ зала, вытянулся стол, покрытый зелёным сукном, напра́во у стены стояли за решёткой две деревянные скамьи, налево — два ряда малиновых кресел. По залу бесшумно бегали служащие с зелёными воротниками, золотыми пúговицами на груди и животё. В мутном воздухе робко блуждал тихий шёпот, носился смешанный запах аптеки. Всё это — цвета́, блёски, звуки и запахи — давило на глаза́, вторгалось вместе с дыханием в грудь и наполняло опустошённое сердце неподвижной, пёстрой му́тью унылой боязни.

Вдруг один из людей громко сказал что-то, мать вздрогнула, все встали, она тоже поднялась, схватившись за руку Сизова.

В левом углу зала отворилась высокая дверь, из неё, качаясь, вышел старичок в очках. На его сером личике тряслись белые редкие баки, верхняя бритая губа зава-

¹ Драпировка — занавёска.

лилась в рот, острые скулы и подбородок опирались на высокий воротник мундира, казалось, что под воротником нет шеи. Его поддерживал сзади под руку высокий молодой человек с фарфоровым лицом, румяным и круглым, а вслед за ними медленно двигались ещё трое людей в расшитых золотом мундирах и трое штатских¹.

Они долго возились за столом, усаживаясь в кресла, а когда сели, один из них, в расстегнутом мундире, с ленивым, бритым лицом, что-то начал говорить старичку, беззвучно и тяжело шевеля пухлыми губами. Старичок слушал, сидя странно прямо и неподвижно, за стеклами его очков мать видела два маленькие бесцветные пятнышка.

На конце стола у конторки стоял высокий лысоватый человек, покашливал, шелестел бумагами.

Старичок покачнулся вперёд, заговорил. Первое слово он выговаривал ясно, а следующие как бы расползались у него по губам, тонким и серым.

— Открываю... Введите...

— Гляди! — шепнул Сизов, тихонько толкая мать, и встал.

В стене за решёткой открылась дверь, вышел солдат с обнажённой шашкой на плече, за ним явился Пáвел, Андре́й, Фёдя Ма́зин, оба Гу́севы, Само́йлов, Бу́кин, Со́мов и ещё человек пять молодёжи, незнакомой матери по именам. Пáвел ласково улыбался. Андре́й тоже, оскалив зубы, кивал головой; в зале стало как-то светлее, проще от их улыбок, оживлённых лиц и движения, внесённого ими в натянутое, чопорное² молчание. Жирный блеск золота на мундирах потускнел, стал мягче, веяние бодрой уверенности, дуновение живой силы коснулось сердца матери, будя его. И на скамьях сзади неё, где до той поры люди подавленно ожидали, теперь тоже вырос ответный негромкий гул.

— Не трясят! — услышала она шёпот Сизова, а с правой стороны тихо всхлипнула мать Самойлова.

— Тише! — раздался суровый окрик.

— Предупреждаю... — сказал старичок.

Пáвел и Андре́й сели рядом, вместе с ними на первой скамье сели Ма́зин, Само́йлов и Гу́севы. Андре́й обрил себе бороду, усы у него отросли и свешивались вниз,

¹ Штатские — не военные.

² Чопорное — здесь: чересчур строгое и важное.

придавая его круглой голове сходство с головой кошки. Что-то новое появилось на его лице — острое и ёдкое в складках рта, тёмное в глазах. На верхней губе Мазина чернели две полоски, лицо стало полнее, Самойлов был такой же кудрявый, как и раньше, и так же широко ухмылялся Иван Гусев.

— Эх, Фёдка, Фёдка! — шептал Сизов, опустив голову.

Мать слушала невнятные вопросы старичка, — он спрашивал, не глядя на подсудимых, и голова его лежала на воротнике мундира неподвижно, — слышала спокойные, короткие ответы сына. Ей казалось, что старший судья и все его товарищи не могут быть злыми, жестокими людьми. Внимательно осматривая лица судей, она, пытаясь что-то предугадать, тихонько прислушивалась к росту новой надежды в своей груди.

Фарфоровый человек безучастно читал бумагу, его ровный голос наполнял зал скукой, и люди, облитые ею, сидели неподвижно, как бы оцепенев. Четверо адвокатов тихо, но оживлённо разговаривали с подсудимыми, все они двигались сильно, быстро и напоминали собой больших, чёрных птиц.

По одну сторону старичка наполнял кресло своим телом толстый, пухлый судья с маленькими заплавшими глазами, по другую — сутулый, с рыжеватыми усами на бледном лице. Он устало откинул голову на спинку стула и, полуприкрыв глаза, о чём-то думал. У прокурора лицо было тоже утомлённое, скучное. Сзади судей сидел, задумчиво поглаживая щеку, городской голова¹, полный, солидный мужчина; предводитель дворянства, седой, большебородый и краснолицый человек, с большими добрыми глазами; волостной старшина² в поддёвке³, с огромным животом, который, видимо, конфузил его — он всё старался прикрыть его полый поддёвки, а она сползала.

— Здесь нет преступников, нет судей, — раздался

¹ Городской голова — в дореволюционной России выборное лицо, ведавшее городским управлением; выбирался из богатых горожан.

² Волостной старшина — в дореволюционной России выборное лицо, ведавшее крестьянскими делами; выбирался из богатых крестьян.

³ Поддёвка — пальто со складками в талии и широкими полами.

твёрдый гóлос Пávла,— здесь тóлько плénные и победители...

Стáло тíхо, нéсколько секúнд úхо мáтери слýшало тóлько тóнкий, торопливый скрип перá по бумáге и бинéние свoегó сёрдца.

И стáрший судья тóже как бúдто прислúшивался к чемú-то, ждал. Егó товáрищи пошевелились. Тогда он сказал:

— М-да,— Андрéй Нахóдка! Признáете вы...

Андрéй мéдленно приподнялся, вы́прямился и, дёргая себя за усы, исподлóбья смотрél на старичкá.

— Да в чём же я могу признáть себя винóвным? — певúче и неторопливо, как всегда, заговорил хохóл, пожáв плечáми.— Я не убил, не укрáл, я прóсто не согласен с таким порядком жízни, в котóром лúди принуждены грáбить и убивáть друг дрúга...

— Отвечáйте корóче,— с усíлием, но внятно сказал старик.

На скамьях, сзáди себя, мать чúствовала оживлénие, лúди тíхо шептáлись о чём-то и двигались, как бы освобождáя себя из паутíны сéрых слов фарфóрового чeловéка.

— Слы́шишь, как онí? — шепну́л Сизóв.

— Фёдор Мáзин, отвечáйте...

— Не хочú! — ясно сказал Фéдя, вскочив нá ноги. Лицó егó залилось румя́нцем волнénия, глазá засверкáли, он почему-то спрýтал рúки зá спину.

Сизóв тихóнько áхнул, мать изумлénно расшíрила глазá.

— Я отказáлся от зашúты,— я ничегó не бúду говорить, суд ваш считáю незаконным! Кто вы? Нарóд ли дал вам прáво судить нас? Нет, он не давáл! Я вас не знáю!

Он сел и скрыл своё разгорéвшееся лицó за плечóм Андрéя.

Толстый судья наклонил гóлову к стáршему и чтó-то прошептáл. Судья с блéдным лицóм пóднял вéки, скосил глазá на подсудимых, протяну́л рúку на стол и черкну́л карандашóм на бумáге, лежáвшей перед ним. Волостной старшина́ покачáл головóй, осторóжно перестáвив нóги, положил живóт на колéни и прикрыл егó рукáми. Не двигая головóй, старичóк поверну́л кóрпус к ры́жему судье, беззвúчно поговорил с ним, тот вы́слушал егó,

наклонив голову. Предводитель дворянства шептался с прокурором, голова слушал их, потирая щеку. Вновь зазвучала тусклая речь старшего судьи.

— Каково отрезал? Прямо — лучше всех! — удивлённо шептал Сизов на ухо матери.

Мать, недоумевая, улыбалась. Всё происходившее сначала казалось ей лишним и нудным предисловием к чему-то страшному, что появится и сразу раздавит всех холодным ужасом. Но спокойные слова Павла и Андрея прозвучали так безбоязненно и твёрдо, точно они были сказаны в маленьком домике слободки, а не перед лицом суда. Горячая выходка Фёди оживила её. Что-то смелоеросло в зале, и мать, по движению людей сзати себя, догадывалась, что не она одна чувствует это.

— Ваше мнение? — сказал старичок.

Лысоватый прокурор встал и, держаь одной рукой за конторку, быстро заговорил, приводя цифры. В его голосе не слышно было страшного.

Но в то же время сухой, колющий налёт бередил¹ и тревожил сердце матери — было смутное ощущение чего-то враждебного ей. Оно не угрожало, не кричало, а развивалось невидимо, неуловимо. Лениво и тупо оно колебалось где-то вокруг судей, как бы окутывая их непроницаемым облаком, сквозь которое не достигало до них ничто извне. Она смотрела на судей, и все они были непонятны ей. Они не сердились на Павла и на Фёдю, как она ждала, не обижали их словами, но всё, о чём они спрашивали, казалось ей ненужным для них, они как будто нехотя спрашивают, с трудом выслушивают ответы, всё заранее знают, ничем не интересуются.

Вот перед ними стоит жандарм и говорит басом:

— Павла Власова называли главным зачинщиком все...

— А Находку? — лениво и негромко спросил толстый судья.

— И его тоже...

Один из адвокатов встал, говоря:

— Могú я?

Старичок спрашивает кого-то:

— Вы ничего не имёете?

¹ Б е р е д и т ь — вызывать боль, раздражение.

Все сѹдьи казались матери нездоровыми людьми. Болѣзненное утомлѣние сказывалось в их позах и голосах, оно лежало на лицах у них, — болѣзненное утомлѣние и надоедн¹ая, сѣрая скука. Видимо, им тяжело и неудобно всё это — мундѣры, зал, жандармы, адвокаты, обязанность сидѣть в креслах, спрашивать и слѹшать.

Стоит перед ними знакомый желтолицый офицер и важно, растягивая слова, громко рассказывает о Павле, об Андрее. Мать, слѹшая его, невольно думала:

«Не много ты знаешь».

И смотрѣла на людей за решѣткой ужѣ без страха за них, без жалости к ним — к ним не приставала жалость, все они вызвали у неѣ только удивлѣние и любовь, тепло обнимающую сердце; удивлѣние было спокойно, любовь — радостно ясно. Молодые, крѣпкие, они сидѣли в сторонѣ у стѣны, почти не вмѣшиваясь в однообразный разговор свидѣтелей и судѣй, в споры адвокатов с прокурором. Порой кто-нибудь презрительно усмехался, что-то говорил товарищам, по их лицам тоже пробегала насмѣшливая улыбка. Андрей и Павел почти всё время тихо бесѣдовали с одним из защитников — мать наканѹне видела его у Николая. К их бесѣде прислушивался Мазин, оживлѣнный и подвижный болѣе других, Самойлов что-то порой говорил Ивану Гусеву, и мать видела, что каждый раз Иван, незамѣтно отталкивая товарища локтем, едва сдерживает смех, лицо у него краснѣет, щѣки надуваются, он наклоняет голову. Раза два он ужѣ фыркнул, а послѣ этого нѣсколько минут сидѣл надутый, стараясь быть болѣе солидным. И в каждом, так или иначе, играла молодость, легко одолевая усилія сдержать еѣ живое брожѣние.

Сизов легонько тронул еѣ за локоть, она обернулась к нему — лицо у него было довольное и немного озабоченное. Он шептал:

— Ты поглядѣй, как они укрѣпились, материны дѣти, а? Бароны, а?

В залѣ говорили свидѣтели — торопливо, обесцвѣченными голосами, сѹдьи — неохотно и безучастно. Толстый судья зевал, прикрывая рот пухлой рукой, рыжеусый поблѣднѣл ещѣ болѣе, иногда он поднимал руку и, туго нажимая на кость виска пальцем, слѣпо смотрѣл в потолокъ

¹ Надоедн¹ая; надоед¹ать — становиться всё болѣе неприятным,

жа́лобно расши́ренными гла́зами. Проку́ро́р и́зредка черка́л карандашо́м по бума́ге и сно́ва продолжа́л беззвучную бесе́ду с предводи́телем дворя́нства, а тот, погла́живая седую́ бо́роду, выка́тывал огро́мные краси́вые глаза́ и улыба́лся, ва́жно сгиба́я шею. Горо́дско́й голо́ва сиде́л, заки́нув но́гу на́ ногу, бесшу́мно бараба́нил па́льцами по коле́ну и сосредото́ченно наблюда́л за дви́жениями па́льцев. То́лько волостно́й старшина́, утверди́в живо́т на коле́нях и заботли́во подде́рживая его́ рука́ми, сиде́л, наклони́в го́лову, и, каза́лось, оди́н вслу́шивался в однообра́зное журча́ние голосо́в, да старичо́к, во́ткну́тый в крэ́сло, торча́л в нём неподви́жно, как флю́гер в безве́тренный день. Продолжа́лось э́то до́лго, и сно́ва ошепенё́ние ску́ки ослепи́ло люде́й.

— Объявля́ю...— сказа́л старичо́к и, раздави́в то́нкими губа́ми сле́дующие слова́, встал.

Шум, вздо́хи, ти́хие восклицáния, ка́шель и ша́ркание ног напо́лнили зал. Подсуди́мых увели́, уходя́, они́, улыба́ясь, кива́ли голо́вами родны́м и знако́мым, а Ива́н Гу́сев негро́мко кри́кнул кому́-то:

— Не робей, Егору́!..

Ма́ть и Сизо́в вы́шли в коридо́р.

— Чай́ пить в тракти́р пойдёшь? — заботли́во и заду́мчиво спроси́л её стари́к. — Полтора́ часа́ вре́мя у нас!

— Не хочу́.

— Ну, и я не пойду́. Нет,— каковы́ ребята́, а? Сидя́т вроде́ того́, как бу́дто они́ то́лько и есть настоя́щие лю́ди, а остальные́ все — ни при чём! Фёдка-то, а?

К ним подоше́л оте́ц Само́йлова, держа́ ша́пку в руке́. Он угрю́мо улыба́лся и говори́л:

— Мо́й-то Григо́рий? От защи́тника отказа́лся и разгово́ривать не хо́чет. Пе́рвый он, слышь, вы́думал э́то. Тво́й-то, Пелаге́я, стоя́л за адво́катов, а мой говори́т — не желаю́! И тогда́ че́тверо отказа́лись...

Рядо́м с ним стоя́ла жена́. Ча́сто морга́я гла́зами, она́ вытира́ла нос концо́м платка́. Само́йлов взял бо́роду в ру́ку и продолжа́л, глядя́ в пол:

— Ве́дь вот шту́ка! Гляди́шь на них, чертёй, понима́ешь — зря они́ всё э́то зате́яли, напрáсно себя́ губят. И вдруг начнёшь ду́мать — а мо́жет, их пра́вда? Вспомни́шь, что на фа́брике они́ всё расту́т да расту́т, их то и де́ло хвата́ют, а они́, как ерши́ в рекé, не перево́дятся, нет! Опа́ть ду́маешь — а мо́жет, и си́ла за ними́?

— Трудно нам, Степан Петров, понять это дело! — сказал Сизов.

— Трудно,— да! — согласился Самойлов.

Его жена, сильно потянув воздух носом, заметила:

— Здоровы все, окайнные...

И, не сдержав улыбки на широком дряблом лице, продолжала:

— Ты, Ниловна, не сердись,— давеча я тебе бухнула, что, мол, твой виноват. А пёс их разберёт¹, который виноватее, если по правде говорить! Вон что про нашего-то Григория жандармы со шпионами говорили. Тоже постарался,— рыжий бес!

Она, видимо, гордилась своим сыном, быть может не понимая своего чувства, но её чувство было знакомо матери, и она ответила на её слова доброй улыбкой, тихими словами:

— Молодое сердце всегда ближе к правде...

По коридору бродили люди, собирались в группы, возбуждённо и вдумчиво разговаривая глухими голосами. Почти никто не стоял одиноко — на всех лицах было ясно видно желание говорить, спрашивать, слушать. В узкой белой трубе² между двух стен люди мотались взад и вперёд, точно под ударами сильного ветра, и, казалось, все искали возможности стать на чём-то твёрдо и крепко.

Старший брат Букина, высокий и тоже выцветший, размахивал руками, быстро вертясь во все стороны, и доказывал:

— Волостной старшина Клепанов в этом деле не на месте...

— Молчи, Константин! — уговаривал его отец, маленький старичок, и опасливо оглядывался.

— Нет, я скажу! Про него идёт слух, что он в прошлом году приказчика своего убил из-за его жены. Приказчикова жена с ним живёт — это как понимать? И к тому же он известный вор...

— Ах ты, батюшки мой, Константин!

— Верно! — сказал Самойлов. — Верно! Суд — не очень правильный...

Букин услышал его голос, быстро подошёл, увлекая за

¹ А пёс их разберёт — в смысле: а кто их знает.

² В узкой белой трубе — здесь: в узком коридоре.

собой всех, и, размахивая руками, красный от возбуждения, закричал:

— За кражу, за убийство — судят присяжные¹, простые люди, — крестьяне, мещане, — позвольте! А людей, которые против начальства, судит начальство, — как так? Ежели ты меня обидишь, а я тебе дам в зубы, а ты меня за это судить будешь — конечно, я окажусь виноват, а первый обидел кто — ты? Ты!

Сторож, седой, горбоносый, с медалями на груди, растолкал толпу и сказал Бúкину, грозя пальцем:

— Эй, не кричи! Кабак тут?

— Позвольте, кавалёр², я понимаю! Послушайте — ежели я вас ударю и я же вас буду судить, как вы полагаете...

— А вот я тебя вывести велю отсюда! — строго сказал сторож.

— Куда же? За чем?

— На улицу. Чтобы ты не орал...

Бúкин осмотрел всех и негромко проговорил:

— Им главное, чтобы люди молчали...

— А ты как думал?! — крикнул старик строго и грубо.

Бúкин развёл руками и стал говорить тише.

— И опять же, почему не допущен на суд народ, а только родные? Ежели ты судишь справедливо, ты суди при всех — чего бояться?

Самойлов повторил, но уже громче:

— Суд не по совести, это верно!..

Матери хотелось сказать ему то, что она слышала от Николая о незаконности суда, но она плохо поняла это и частью позабыла слова. Стараясь вспомнить их, она отодвинулась в сторону от людей и заметила, что на неё смотрит какой-то молодой человек со светлыми усами. Правую руку он держал в кармане брюк, от этого его левое плечо было ниже, и эта особенность фигуры показалась знакомой матери. Но он повернулся к ней спиной, а она была озабочена воспоминаниями и тотчас же забыла о нём.

Но через минуту слуха её коснулся негромкий вопрос:

¹ П р и с я ж н ы е — в дореволюционной России так назывались выборные лица из среды зажиточных крестьян, мещан, купцов, которые выносили решение о виновности или невинности обвиняемого.

² К а в а л ё р — так назван здесь в насмешку сторож, как обладатель нескольких медалей.

— Эта?

И кто-то громче, радостно ответил:

— Да!

Она оглянлась. Человек с косыми плечами стоял боком к ней и что-то говорил своему соседу, чернобородому парню в коротком пальто и в сапогах по колено.

Снова память её беспокойно вздрогнула, но не создала ничего ясного. В груди её повелительно разгоралось желание говорить людям о правде сына, ей хотелось слышать, что скажут люди против этой правды, хотелось по их словам догадаться о решении суда.

— Разве так судят? — осторожно и негромко начала она, обращаясь к Сизову. — Допытываются о том — что кем сделано, а зачем сделано — не спрашивают. И старые они все, молодых — молодым судить надо...

— Да, — сказал Сизов, — трудно нам понять это дело, трудно! — И задумчиво покачал головой.

Сторож, открыв дверь зала, крикнул:

— Родственники! Показывай билеты...

Угрюмый голос неторопливо проговорил:

— Билеты, — словно в цирк!

Во всех людях теперь чувствовалось глухое раздражение, смутный задор, они стали держаться развязнее, шумели, спорили со сторожами.

XXV

Усаживаясь на скамью, Сизов что-то ворчал.

— Ты что? — спросила мать.

— Так! Дурак народ...

Позвонил колокольчик. Кто-то равнодушно объявил:

— Суд идёт...

Снова все встали, и снова, в том же порядке, вошли судьи, уселись. Ввели подсудимых.

— Держись! — шепнул Сизов. — Прокурор говорить будет.

Мать вытянула шею, всем телом подалась вперёд и замерла в новом ожидании страшного.

Стоя боком к судьям, повернув к ним голову, опираясь локтем на конторку, прокурор вздохнул и, отрывисто взмахивая в воздухе правой рукой, заговорил. Пёр-

вых слов мать не разобрала, голос у прокурора был пла́вный, густой и тѣк неровно, то — медленно, то — быстрее. Слова́ однообразно вытягивались в длинный ряд, точно стежки́ нитки, и вдруг вылетали торопливо, кружились, как ста́я чёрных мух над куско́м сахара. Но она́ не находила в них ничего́ страшного, ничего́ угрожающего. Холо́дные, как снег, и се́рые, точно пепел, они́ сыпались, сыпались, наполняя зал чём-то доса́дно надоеда́ющим, как то́нная, суха́я пыль. Эта речь, скупа́я чувствами, обильная слова́ми, должно́ быть, не достига́ла до Па́вля и его́ товарищей — видимо, никак не задева́ла их, — все сидели споко́йно и, по-пре́жнему беззвучно бесе́дуя, поро́ю улыба́лись, поро́ю хму́рились, что́бы скрыть улыбку.

— Врёт! — шепта́л Сизов.

Она́ не могла́ бы это́го сказа́ть. Она́ слы́шала слова́ прокурора, понима́ла, что он обвиня́ет всех, никогó не выделя́я; проговори́в о Па́вле, он начина́л говори́ть о Фёде, а поста́вив его́ рядом с Па́влом, насто́йчиво пододвига́л к ним Бу́кина, — каза́лось, он упаковывает, зашива́ет всех в оди́н мешо́к, плóтно укла́дывая друг к дру́гу. Но внеш́ний смысл его́ слов не удовлетворя́л, не тро́гал и не пуга́л её, она́ всё-таки ждала́ страшного и упо́рно иска́ла его́ за слова́ми — в лице́, в глаза́х, в го́лосе прокурора, в его́ бе́лой руке́, неторопливо мелька́вшей по во́здуху. Что́-то стра́шное бы́ло, она́ это́ чувствовала, но — неуловимо́е — оно́ не поддава́лось определению́, вновь покрыва́я её се́рдце сухим и е́дким налётом.

Она́ смотре́ла на судей — им, несомне́нно, бы́ло скучно́ слу́шать э́ту речь. Неживы́е, жёлтые и се́рые лица́ ничего́ не выража́ли. Слова́ прокурора разлива́ли в во́здухе незаметный гла́зу туман, он всё рос и сгуща́лся вокру́г судей, плотнее́ оку́тывая их о́блаком равноду́шия и утомлённого ожида́ния. Ста́рший судья́ не дви́гался, засо́х в своёй прямо́й по́зе, се́рые пятнышки за стёклами его́ очко́в поро́ю исчеза́ли, расплыва́ясь по лицу́.

И, ви́дя это́ мёртвое безуча́стие, это́ беззло́бное равноду́шие, мать недоуме́нно спрашивала себя́:

«Судят?»

Вопро́с сти́скивал ей се́рдце и, постепе́нно выжимая́ из него́ ожида́ние стра́шного, щипа́л го́рло о́стрым ошу́щением оби́ды.

Речь прокурора порвала́сь ка́к-то неожиданно — он сде́лал не́сколько бы́стрых, ме́лких стежко́в, поклонился́

судьям и сел, потирая руки. Предводитель дворянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза, городской голова протянул руку, а старшина глядел на свой живот и улыбался.

Но судей речь его, видимо, не обрадовала, они не шевелились.

— Слово,— заговорил старичок, поднося к своему лицу какую-то бумагу,— защитнику Федосеева, Маркова и Загарова.

Встал адвокат, которого мать видела у Николая. Лицо у него было добродушное, широкое, его маленькие глазки лучисто улыбались,— казалось, из-под рыжеватых бровей высовываются два острия и, точно ножницы, стригут что-то в воздухе. Заговорил он неторопливо, звучно и ясно, но мать не могла вслушиваться в его речь — Сизов шептал ей на ухо:

— Понял, что он говорил? Понял? Люди, говорят, расстроены, безумные. Это — Фёдор?

Она не отвечала, подавленная тягостным разочарованием. Обида росла, угнетая душу. Теперь Власовой стало ясно, почему она ждала справедливости, думала увидеть строгую, честную тяжбу правды сына с правдой судей его. Ей представлялось, что судьи будут спрашивать Павла долго, внимательно и подробно о всей жизни его сердца, они рассмотрят зоркими глазами все думы и дела сына её, все дни его. И когда увидят они правоту его, то справедливо, громко скажут:

— Человек этот прав!

Но ничего подобного не было — казалось, что подсудимые невидимо далеко от судей, а судьи — лишние для них. Утомлённая, мать потеряла интерес к суду и, не слушая слов, обиженно думала:

«Разве так судят?»

— Так их! — одобрительно прошептал Сизов.

Уже говорил другой адвокат, маленький, с острым, бледным и насмешливым лицом, а судьи мешали ему.

Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал что-то о протоколе, потом, увещевая, заговорил старичок,— защитник, почтительно наклонив голову, послушал их и снова продолжал речь.

— Ковыряй! — заметил Сизов.— Расковыривай...

В зале зарождалось оживление, сверкал боевой задор, адвокат раздражал острыми словами старую кожу судей.

Судьи как будто сдвинулись плотнее, надулись и распухли, чтобы отражать колкие и резкие щелчки слов.

Но вот поднялся Пáвел, и вдруг стало неожиданно тихо. Мать качнулась всем телом вперёд. Пáвел заговорил спокойно:

— Человек партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не в защиту свою, а — по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты,— попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. Прокурор назвал наше выступление под знаменем социал-демократии — бунтом против верховной власти и всё время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей тело страны, оно только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа...

Тишина углублялась под звуками твёрдого голоса, он как бы расширял стены зала, Пáвел точно отодвигался от людей далеко в сторону, становясь выпуклее.

Судьи зашевелились тяжело и беспокойно. Предводитель дворянства что-то прошептал судье с ленивым лицом, тот кивнул головой и обратился к старичку, а с другой стороны в то же время ему говорил в ухо больной судья. Качаясь в кресле вправо и влево, старичок что-то сказал Пáвлу, но голос его утонул в ровном и широком потоке речи Власова.

— Мы — социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создаёт непримиримую вражду интересов, лжёт, стараясь скрыть или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения,— противочеловечно, оно враждебно нам, мы не можем примириться с его моралью, двуличной и лживой; цинизм и жестокость его отношения к личности противны нам, мы хотим и будем бороться против всех форм физического и морального порабощения человека таким обществом, против всех приёмов дробления человека в угоду корыстолюбию. Мы, рабочие,— люди, трудом которых создаётся всё — от гигантских машин до детских игрушек, мы — люди, лишённые права бороться за своё человеческое достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для дости-

жéния своих цéлей, мы хотím тепérь имéть стóлько свободы, чтóбы она́ дала́ нам возмо́жность со вре́менем завоева́ть всю власть. На́ши лóзунги прóсты — долóй частную со́бственность, все сréдства произво́дства — наро́ду, вся власть — наро́ду, труд — обяза́телен для всех. Вы ви́дите — мы не бунтовщи́ки!

Па́вел усмехну́лся, ме́дленно провёл руко́й по волоса́м, ого́нь его́ голубы́х глаз вспыхнул светлее́.

— Прошу́ вас,— б́лиже к де́лу! — сказа́л председа́тель вня́тно и гро́мко. Он поверну́лся к Па́влу гру́дью, смотре́л на него́, и ма́тери каза́лось, что его́ ле́вый ту́склый глаз разгора́ется нехоро́шим, жа́дным огнём. И все су́ды смотре́ли на её сы́на так, что каза́лось — их глаза́ прилипа́ют к его́ лицу́, присасы́ваются к те́лу, жа́ждут его́ кро́ви, чтóбы оживи́ть ёю свой изно́шенные те́ла. А он, прямо́й, высо́кий, сто́я твёрдо и кре́пко, протя́гивал к ним ру́ку и негро́мко, чётко говори́л:

— Мы — революционе́ры и бу́дем таковы́ми до поры́, пока́ одни́ — то́лько кома́ндуют, други́е — то́лько рабо́тают. Мы стоим прóтив о́бщества, интере́сы кото́рого вам прика́зано защища́ть, как неприми́римые враги́ его́ и ва́ши, и примирéние ме́жду на́ми невозмо́жно до поры́, пока́ мы не победи́м. Победи́м мы, рабо́чие! Ва́ши довери́тели¹ совсе́м не так сильны́, как им ка́жется. Та же со́бственность, накопи́я и сохра́няя кото́рую они́ же́ртвуют миллио́нами порабо́щённых ими́ людей, та же си́ла, кото́рая даёт им власть над на́ми, возбужда́ет среди́ них вражде́бные трéния, разруша́ет их физи́чески и мора́льно. Со́бственность тре́бует сли́шком мно́го напря́жения для своéй защи́ты, и, в су́щности, все вы, на́ши влады́ки, бо́лее рабы́, чем мы,— вы порабо́щены духо́вно, мы — то́лько физи́чески. Вы не мо́жете отказа́ться от гнё́та предубежде́ний и привы́чек — гнё́та, кото́рый духо́вно умертви́л вас,— нам ничто́ не меша́ет быть вну́тренно свободны́ми,— яды, кото́рыми вы отравля́ете нас, слабее́ тех противоя́дий, кото́рые вы — не жела́я — влива́ете в на́ше созна́ние. Оно́ растёт, оно́ развива́ется безостановочно, всё быстрее́ оно́ разгора́ется и увлека́ет за собо́й всё лу́чшее, всё духо́вно здоро́вое да́же из ва́шей среды́. Посмотрите́ — у вас уже́ нет людей, кото́рые могли́ бы иде́йно боро́ться за ва́шу

¹ Ва́ши довери́тели — те, кто дове́рил вам твори́ть суд (здесь: царь, поме́щики и капита́листы).

власть, вы уже израсходовали все аргументы¹, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, они всё ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу. Сознание великой роли рабочего сливается всех рабочих мира в одну душу, — вы ничем не можете задержать этот процесс обновления жизни, кроме жестокости и цинизма. Но цинизм — очевиден, жестокость — раздражает. И руки, которые сегодня нас душат, скоро будут товарищески пожимать наши руки. Ваша энергия — механическая энергия роста золота, она объединяет вас в группы, призванные пожрать друг друга, наша энергия — живая сила всё растущего сознания солидарности всех рабочих. Всё, что делаете вы, — преступно, ибо направлено к порабощению людей, наша работа освобождает мир от призраков и чудовищ, рождённых вашей ложью, злобой, жадностью, чудовищ, запугавших народ. Вы отрывали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир в единое великое целое, и это — будет!

Павел остановился на секунду и повторил тише, сильнее:

— Это — будет!

Судьи перешёпывались, странно гримасничая, и всё не отрывали жадных глаз от Павла, а мать чувствовала, что они грязнят его гибкое, крепкое тело своими взглядами, завидуя здоровью, силе, свежести. Подсудимые внимательно слушали речь товарища, лица их побледнели; глаза сверкали радостно. Мать глотала слова сына, и они врезывались в памяти её стройными рядами. Старичок несколько раз останавливал Павла, что-то разъяснял ему, однажды даже печально улыбнулся — Павел молча выслушивал его и снова начинал говорить сурово, но спокойно, заставляя слушать себя, подчиняя своей воле — волю судей. Но наконец старик закричал, протягивая руку к Павлу; в ответ ему, немного насмешливо, лился голос Павла:

— Я кончаю. Обидеть лично вас я не хотел, напротив — присутствуя невольно при этой комедии², которую

¹ А р г у м е н т — довод, доказательство.

² К о м е д и я — здесь: смешная, лицемерная игра в суд.

вы назывáете судом, я чувствую почти сострадание к вам. Всё-таки — вы люди, а нам всегда обидно видеть людей, хотя и враждебных нашей цели, но так позорно приниженных служением насилию, до такой степени утративших сознание своего человеческого достоинства...

Он сел, не глядя на судей, мать, сдерживая дыхание, пристально смотрела на судей, ждала.

Андрей, весь сияющий, крепко стиснул руку Павла, Самойлов, Мазин и все оживлённо потянулись к нему, он улыбался, немного смущённый порывами товарищей, взглянул туда, где сидела мать, и кивнул ей головой, как бы спрашивая:

«Так?»

Она ответила ему глубоким вздохом радости, вся облитая горячей волной любви.

— Вот,— начался суд! — прошептал Сизов.— Ка-ак он их, а?

Она молча кивала головой, довольная тем, что сын так смело говорил,— быть может, ещё более довольная тем, что он кончил. В голове её трепетно бился вопрос:

«Ну? Как же вы теперь?»

XXVI

То, что говорил сын, не было для неё новым, она знала эти мысли, но первый раз здесь, перед лицом суда, она почувствовала странную, увлекающую силу его веры. Её поразило спокойствие Павла, и речь его слилась в её груди звездоподобным, лучистым комом крепкого убеждения в его правоте и в победе его. Она ждала теперь, что судьи будут жестоко спорить с ним, сердито возражать ему, выдвигая свою правду. Но вот встал Андрей, покачнулся, исподлобья взглянул на судей и заговорил:

— Господа защитники...

— Перед вами суд, а не защита! — сердито и громко заметил ему судья с больным лицом. По выражению лица Андрея мать видела, что он хочет дурить, усы у него дрожали, в глазах светилась хитрая, кошачья ласка,

знакомая ей. Он крепко потёр голову длинной рукой и вздохнул.

— Разве ж? — сказал он, покачивая головой. — Я думаю — вы не судьи, а только защитники...

— Я попрошу вас говорить по существу дела! — сухо заметил старичок.

— По существу? Хорошó! Я ужé заставил себя подумать, что вы действительно судьи, люди независимые, честные...

— Суд не нуждается в вашей характеристике!

— Не нуждается? Гм,— ну, всё же я буду продолжать... Вы люди, для которых нет ни своих, ни чужих, вы — свободные люди. Вот стоят перед вами две стороны, и одна жалуется — он меня ограбил и замордовал совсём! А другая отвечает — имéю право грабить и мордовать, потому что у меня ружьё есть...

— Вы имéете сказать что-нибудь по существу? — повышая голос, спросил старичок. У него дрожала рука, и матери было приятно видеть, что он сердится. Но поведение Андрея не нравилось ей — оно не сливалось с речью сына,— ей хотéлось серьёзного и стрóгого спóра.

Хохól молча посмотрёл на старичка, потóм, потирая голову, сказал серьёзно:

— По существу? Да зачём же я с вами буду говорить по существу? Что нужно было вам знать — товарищ сказал. Остальное вам доскажут, будет время, другие...

Старичок привстал и объявил:

— Лишаю вас слова! Григорий Самóйлов!

Плóтно сжав губы, хохól лениво опустился на скамью, рядом с ним встал Самóйлов, потрянув кудрями.

— Прокурóр назывáл товарищей дикарями, врагами культуры...

— Нужно говорить только о том, что касáется вáшего дела!

— Это— касáется. Нет ничего, что не касáлось бы честных людей. И я прошу не прерывать меня. Я спрашиваю вас — что такое вáша культура?

— Мы здесь не для диспутов¹ с вами! К делу! — обнажая зубы, говорил старичок.

Поведение Андрея явно изменило судей, его слова

¹ Д и с п у т — спор, обсуждение.

как бы стёрли с них что-то, на серых лицах явились пятна, в глазах горели холодные, зелёные искры. Речь Пávла раздражила их, но сдерживала раздражение своей силой, невольно внушавшей уважение, хохол сорвал эту сдержанность и легко обнажил то, что было под нею. Они перешёпывались со странными ужимками и стали двигаться слишком быстро для себя.

— Вы воспитываете шпионов, вы развращаете женщин и девушек, вы ставите человека в положение вора и убийцы, вы отравляете его водкой,— международные боины, всенародная ложь, разврат и одичание — вот культура ваша! Да, мы враги этой культуры!

— Прощу вас! — крикнул старичок, встряхивая подбородком. Но Самойлов, весь красный, сверкая глазами, тоже кричал:

— Но мы уважаем и ценим ту, другую культуру, творцов которой вы гноили в тюрьмах, сводили с ума...

— Лишаю слова! Фёдор Мазин!

Маленький Мазин поднялся, точно вдруг высунулось шило, и срывающимся голосом сказал:

— Я... я клянусь! Я знаю — вы осудили меня.

Он задохнулся, побледнел, на лице у него остались одни глаза, и, протянув руку, он крикнул:

— Я — честное слово! Куда вы ни пошлёте меня — убегу, ворочусь, буду работать всегда, всю жизнь. Честное слово!

Сизов громко крикнул, завозился. И вся публика, поддаваясь всё выше восходившей волне возбуждения, гудела странно и глухо. Плакала какая-то женщина, кто-то удручливо кашлял. Жандармы рассматривали подсудимых с тупым удивлением, публику — со злобой. Судьи качались, старик тонко кричал:

— Гусев Иван!

— Не хочу говорить!

— Василий Гусев!

— Не хочу!

— Буйкин Фёдор!

Тяжело поднялся белесоватый, выцветший парень и, качая головой, медленно сказал:

— Стыдились бы! Я человек тяжёлый и то понимаю справедливости! — Он поднял руку выше головы и замолчал, полузакрыв глаза, как бы присматриваясь к чему-то вдаль.

— Что такое? — раздражённо, с изумлѣнием вскричал старик, опрокидываясь в кресле.

— А, ну вас...

Буйкин угрюмо опустился на скамью. Было огромное, важное в его тѣмных словах, было что-то грустно укоряющее и наивное. Это почувствовалось всеми, и даже судьи прислушивались, как будто ожидая, не раздастся ли эхо, более ясное, чем эти слова. И на скамьях для публики всё замерло, только тихий плач колебался в воздухе. Потом прокурор, пожав плечами, усмехнулся, предводитель дворянства гулко кашлянул, и снова постепенно родились шепоты, возбуждённо извиваясь по залу.

Мать, наклонясь к Сизову, спросила:

— Будут судьи говорить?

— Всё кончено... только приговор объявят...

— Больше ничего?

— Да...

Она не поверила ему.

Самойлова беспокойно двигалась по скамье, толкая мать плечом и локтем, и тихо говорила мужу:

— Как же это? Разве так можно?

— Видишь — можно!

— Что же будет ему, Грише-то?

— Отвяжись...

Во всех чувствовалось что-то сдвинутое, нарушенное, разбитое, люди недоумённо мигали ослеплёнными глазами, как будто перед ними загорелось нечто яркое, неясных очертаний, непонятного значения, но увлекающей силы. И, не понимая внезапно открывавшегося великого, люди торопливо расходовали новое для них чувство на мелкое, очевидное, понятное им. Старший Буйкин, не стесняясь, громко шептал:

— Позвольте, — почему не дадут говорить? Прокурор может говорить всё и сколько хочет...

У скамей стоял чиновник и, махая руками на людей, вполголоса говорил:

— Тихе! Тихе...

Самойлов откинулся назад и за спиной жены гудел, отрывисто выбрасывая слова:

— Конечно, они виноваты, скажем. А ты дай объяснить! Против чего пошли они? Я желаю понять! Я тоже имею свой интерес...

— Тише! — грозя ему пальцем, воскликнул чиновник. Сизов угрюмо кивал головой.

А мать неотрывно смотрела на судей и видела — они всё более возбуждались, разговаривая друг с другом невнятными голосами. Звук их говора, холодный и скользкий, касался её лица и вызывал своим прикосновением дрожь в щеках, недужное¹, противное ощущение во рту. Матери почему-то казалось, что они все говорят о теле её сына и товарищей его, о мускулах и членах юношей, полных горячей крови, живой силы. Это тело зажигает в них нехорошую зависть нищих, липкую жадность истощённых и больных. Они чмокают губами и жалуют эти тела, способные работать и обогащать, наслаждаться и творить. Теперь тела уходят из делового оборота жизни, отказываются от неё, уносят с собой возможность владеть ими, использовать их силу, пожрать её. И поэтому юноши вызывают у старых судей мстительное, тоскливое раздражение ослабевшего зверя, который видит свежую пищу, но уже не имеет силы схватить её, потерял способность насыщаться чужою силой и болезненно ворчит, уныло воет, видя, что уходит от него источник сытости.

Эта мысль, грубая и странная, принимала тем более яркую форму, чем внимательнее разглядывала мать судей. Они не скрывали, казалось ей, возбуждённой жадности и бессильного озлобления голодных, которые когда-то много могли пожрать. Ей, женщине и матери, которой тело сына всегда и всё-таки дороже того, что зовётся душой, — ей было страшно видеть, как эти потухшие глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь, плечи, руки, тёрлись о горячую кожу, точно искали возможности вспыхнуть, разгореться и согреть кровь в отвердевших жилах, в изношенных мускулах полумёртвых людей, теперь несколько оживлённых ударами жадности и зависти к молодой жизни, которую они должны были осудить и отнять у самих себя. Ей казалось, что сын чувствует эти сырые, неприятно щекочущие прикосновения и, вздрагивая, смотрит на неё.

Павел смотрел в лицо матери немного усталыми глазами, спокойно и ласково. Порою кивал ей головой, улыбался.

¹ Недужное (недуг) — болезненное.

«Скóро свобóда!» — говори́ла ей э́та улы́бка и то́чно гла́дила се́рдце ма́тери мя́гкими прикоснове́ниями.

Вдруг су́дьи вста́ли все срáзу. Ма́ть то́же нево́льно подня́лась на́ ноги.

— Пошли́! — сказа́л Сизо́в.

— За пригово́ром? — спроси́ла ма́ть.

— Да...

Её нап́ряже́ние вдруг рассу́лось, те́ло о́бняло ду́шной исто́мой уста́лости, задрожа́ла бровь, и на лбу вы́ступил пот. Тя́гостное чу́вство разоча́рования и оби́ды хлы́нуло в се́рдце и бы́стро перероди́лось в угнета́ющее ду́шу презре́ние к су́дьям и суду́. Ощу́щая боль в бровя́х, она́ крѣ́пко провела́ ладо́нью по́ лбу, огляну́лась — ро́дственники подсу́димых подходи́ли к решѣ́тке, зал на́полнился гу́лом разгово́ра. Она́ то́же подошла́ к Па́влу и, крѣ́пко сти́снув его́ ру́ку, запла́кала, по́лная оби́ды и ра́дости, пу́таясь в хаóсе разно́речивых чувств. Па́вел говори́л ей ла́сковые слова́, хохо́л шути́л и смея́лся.

Все же́нщины пла́кали, но бо́льше по привы́чке, чем от го́ря. Го́ря, ошеломля́ющего внеза́пным, тупы́м уда́ром, неож́иданно и невид́имо па́дающего на́ голову, не́ было, — бы́ло печа́льное созна́ние необходи́мости расста́ться с деть́ми, но и оно́ то́нуло, рассу́орялось в впечатле́ниях, вызванн́х э́тим днѐм. Отцы́ и ма́тери смотре́ли на дете́й со сму́тным чу́вством, где недо́верие к мо́лодости, приви́чное созна́ние своего́ превосхо́дства над деть́ми стра́нно слива́лось с други́м чу́вством, бли́зким ува́жению к ним, и печа́льная, безотвѣ́зная ду́ма, как тепѐрь жить, притупля́лась о любопы́тство, возбу́ждённое ю́ностью, кото́рая сме́ло и бесстра́шно говори́т о возмо́жности друго́й, хоро́шей жи́зни. Чу́вства сде́рживались неуме́нием выража́ть их, слова́ тра́тились оби́льно, но говори́ли о просты́х веща́х, о белье́ и оде́жде, о необходи́мости бере́чь здоро́вье.

А брат Бу́кина, взма́хивая рука́ми, убежда́л мла́дшего бра́та:

— Именно́ — справедли́вость! И бо́льше ниче́го!

Мла́дший Бу́кин отве́чал:

— Ты скворца́ береги́...

— Бۇдет цел!..

А Сизо́в держа́л племянника́ за́ руку и ме́дленно говори́л:

— Так, Фѣ́дор, — зна́чит, поѣ́хал ты...

Фёдя наклонился и прошептал ему что-то на ухо, плутовато улыбаясь. Конвойный солдат тоже улыбнулся, но тотчас же сделал суровое лицо и крикнул.

Мать говорила с Павлом, как и другие, о том же — о платье, о здоровье, а в груди у неё толкались десятки вопросов о Саше, о себе, о нём. Но подо всем этим лежало и медленно разрасталось чувство избытка любви к сыну, напряжённое желание нравиться ему, быть ближе его сердцу. Ожидание страшного умерло, оставив по себе только неприятную дрожь при воспоминании о судьбах да где-то в стороне тёмную мысль о них. Чувствовала она в себе зарождение большой, светлой радости, не понимала её и смущалась. Видя, что хохол говорит со всеми, понимая, что ему нужна ласка более, чем Павлу, она заговорила с ним:

— Не понравился мне суд!

— А почему, ненько? — благодарно улыбаясь, воскликнул хохол. — Старая мельница, а — не бездельница...

— И не страшно, и не понятно людям — чья же правда? — нерешительно сказала она.

— Ого, чего вы захотели! — воскликнул Андрей. — Да разве здесь о правде тягаются?..

Вздохнув и улыбаясь, она сказала:

— Я ведь думала, что — страшно...

— Суд идёт!

Все быстро кинулись на места.

Упираясь одною рукою о стол, старший судья, закрыв лицо бумагой, начал читать её слабо жужжавшим, шмелиным голосом.

— Приговаривает, — сказал Сизов, вслушиваясь.

Стало тихо. Все встали, глядя на старика. Маленький, сухой, прямой, он имел что-то общее с палкой, которую держит невидимая рука. Судьи тоже стояли: волостной — наклонив голову на плечо и глядя в потолок, голова — скрестив на груди руки, предводитель дворянства — поглаживая бороду. Судья с больным лицом, его пухлый товарищ и прокурор смотрели в сторону подсудимых. А сзади судей, с портрета, через их головы, смотрел царь, в красном мундире, с безразличным белым лицом, и по лицу его ползало какое-то насекомое.

— На поселение! ¹ — облегчённо вздохнув, сказал Си-

¹ Поселение — здесь: ссылка в отдалённое место (в Сибирь).

збѣ.— Ну, кончено, слава тебѣ, господи! Говорилось — каторга! Ничего, мать! Это ничего!

— Я ведь — знала,— отвѣтила она усталым голосом.

— Все-таки! Теперь уж верно! А то кто их знает? — Он обернулся к осужденным, которых уже вводили, и громко сказал:

— До свиданья, Федор! И — все! Дай вам бог!

Мать молча кивала головой сыну и всем. Хотелось заплакать, но было совестно.

XXVII

Она вышла из суда и удивилась, что уже ночь над городом, фонари горят на улице и звезды в небе. Около суда толпились кучки людей, в морозном воздухе хрустел снег, звучали молодые голоса, пересекая друг друга. Человек в сером башлыке¹ заглянул в лицо Сизова и торопливо спросил:

— Какой приговор?

— Поселение.

— Всем?

— Всем.

— Спасибо!

Человек отошел.

— Видишь? — сказал Сизов.— Спрашивают...

Вдруг их окружило человек десять юношей и девушек, и быстро посыпались восклицания, привлекавшие людей. Мать и Сизов остановились. Спрашивали о приговоре, о том, как держались подсудимые, кто говорил речи, о чем,— и во всех вопросах звучала одна и та же нота жадного любопытства,— искреннее и горячее, оно возбуждало желание удовлетворить его.

— Господи! Это мать Павла Власова! — негромко крикнул кто-то, и не сразу, но быстро все замолчали.

— Позвольте пожать вам руку!

Чья-то крепкая рука стиснула пальцы матери, чей-то голос взволнованно заговорил:

— Ваш сын будет примером мужества для всех нас...

¹ Башлык — суконный теплый головной убор, надеваемый поверх шапки.

— Да здравствует русский рабочий! — раздался звонкий крик.

Крики росли, умножались, вспыхивали там и тут, отовсюду бежали люди, сталкиваясь вокруг Сизова и матери. Запрыгали по воздуху свистки полиции, но трели их не заглушали криков. Старик смеялся, а матери всё это казалось милым сном. Она улыбалась, пожимала руки, кланялась, и хорошие, светлые слёзы сжимали горло, ноги её дрожали от усталости, но сердце, насыщенное радостью, всё поглощая, отражало впечатления подобно светлomu лику озера...

XXIX

На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановясь, мать оглянулась: близко от неё на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко — шёл какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал солдат, потирая уши.

«Должно быть, в лавочку послали солдатика!» — подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молото и звучно скрипит снег под её ногами. На вокзал она пришла рано, ещё не был готов её поезд, но в грязном, закопчённом дымом зале третьего класса уже собралось много народа — холод согнал сюда путёвских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одётые, бездомные люди. Были и пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девницей, человек пять солдат, светлые мешане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стекла, когда её с шумом захлопывали. Запах табаку и солёной рыбы густо бил в нос.

Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь — на неё налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди с узлами в руках — тяжело одётые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бро-

сив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов,тирали его с бороды,усов, крикали.

Вошёл молодой человек с жёлтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошёл прямо к матери.

— В Москву? — негромко спросил он.

— Да. К Тане.

— Вот!

Он поставил чемодан около неё на лавку, быстро вынул папиросу, закурил её и, приподняв шапку, молча ушёл к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью, ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был невелик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед ней.

Как-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с ней и молча отскочил, взмахнув рукой к голове. Ей показалось что-то знакомое в нём, она оглянулась и увидела, что он одним светлым глазом смотрит на неё из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол её, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отяжелела.

«Я где-то видела его!» — подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу, наполняло рот сухой горечью, ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть ещё раз. Она сделала это — человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте, казалось, он чего-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто, другую он держал в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.

Она, не торопясь, подошла к лавке и села, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед ней этого человека — один раз в поле, за городом, после побега Рыбина, другой — в суде. Там рядом с ним стоял тот околоточный, которому она ложно указала путь Рыбина. Её знали, за ней следили — это было ясно.

«Попáлась?» — спросила она себя. А в слéдующий миг отвéтила, вздрагивая:

«Мóжет быть, ещё нет...»

И тут же, сделав над собо́й усилие, строго сказа́ла:

«Попáлась!»

Огла́дывалась и ничего́ не ви́дела, а мы́сли одна́ за друго́ю йскрами вспы́хивали и га́сли в её мозгу́.

«Оста́вить чемодáн,— уйти́?»

Но бо́лее ярко мелькнóла друго́я йскра:

«Сыно́внее сло́во бро́сить? В такие́ рúки...»

Она́ прижа́ла к себе́ чемодáн.

«А — с ним уйти́?.. Бежа́ть...»

Эти мы́сли ка́зались ей чужими́, то́чно их кто́-то извне́ насильно́ втыка́л в неё. Онí её жгли, ожóги их бо́льно коло́ли мозг, хлеста́ли по се́рдцу, как о́гненные нíti. И, возбужда́я боль, обижа́ли же́нщину, отгоня́я её прочь от само́й себя́, от Па́вла и всего́, что уже́ сросло́сь с её се́рдцем. Она́ чу́ствовала, что её насто́йчиво сжима́ет вражде́бная си́ла, да́вит ей на плéчи и грудь, унижа́ет её, погружа́я в ме́ртвый страх; на виска́х у неё си́льно заби́лись жи́лы, и корня́м воло́с ста́ло теплó.

Тогда́ одním больш́им и рёзким уси́лием се́рдца, ко́торое как бы встряхну́ло её всю, она́ погаси́ла все э́ти хитрые, ма́ленькие, сла́бые огонёкí, повелите́льно сказа́в себе́:

«Стыди́сь!»

Ей сра́зу ста́ло лу́чше, и она́ совсе́м окре́пла, доба́вив:

«Не позо́рь сы́на-то! Никто́ не бо́ится».

Глаза́ её встрéтили че́й-то уны́лый, ро́бкий взгляд. По́том в па́мяти мелькнóло лицо́ Ры́бина. Не́сколько секунд колеба́ний то́чно уплотни́ли всё в ней. Се́рдце заби́лось споко́йнее.

«Что ж тепе́рь бу́дет?» — ду́мала она́, наблюда́я.

Шпио́н подозва́л сто́рожа и что́-то шепта́л ему́, ука́зывая на неё глаза́ми. Сто́рож огла́дывал его́ и пýтился наза́д. Подошёл друго́й сто́рож, прислу́шался, нахму́рил бро́ви. Он был старíк, кру́пный, седой, небри́тый. Вот он кивну́л шпио́ну голово́й и пошёл к ла́вке, где сидéла мать, а шпио́н бы́стро исчéз куда́-то.

Старíк шага́л не торо́пясь, внима́тельно шу́пая се́рдцыми́ глаза́ми лицо́ её. Она́ подвину́лась в глубь скамьи́.

«Только бы не били...»

Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко сурово спросил:

— Что глядишь?

— Ничего.

— Тó-то,— ворóвка! Стáрая уж, а — тудá же!

Ей показáлось, что егó слова удáрили её по лицу, раз и два; злые, хриплые, онí дéлали бóльно, как бóдто рвáли щёки, выхлёстывали глазá...

— Я? Я не ворóвка, врёшь! — крикнула она́ всею грудью, и всё перед нею закружилось в вихре её возмущения, опьяня́я сёрдце горечью обиды. Она́ рвану́ла чемодáн, и он откры́лся.

— Гляди́! Глядите́ все! — кричала́ она́, вставáя, взмахну́в над голово́ю пáчкой вы́хваченных проклама́ций. Сквозь шум в уша́х она́ слышала восклицáния сбегáвшихся людéй и ви́дела — бежáли бýстро, все, ото-всю́ду.

— Что такое?

— Вот, сыщик...

— Что это?

— Укράла, говорит...

— Почтённая такая,— ай-ай-ай!

— Я не ворóвка! — говори́ла мать пóльным гóлосом, немно́го успока́иваясь при ви́де людéй, тесно напира́вших на неё со всех сторо́н.

— Вчерá суди́ли политическx, там был мой сын — Власов, он сказа́л речь — вот она́! Я везу́ её лю́дям, что́бы онí чита́ли, думáли о правде...

Кто́-то осторо́жно потяну́л бума́ги из её рук, она́ взмахну́ла ими в вóздухе и бро́сила в толпу́.

— За это́ то́же не похва́лят! — воскликнул чéй-то пугли́вый гóлос.

Мать ви́дела, что бума́ги хвата́ют, прячут за пáзухи, в карма́ны,— это́ сно́ва крёпко поста́вило её на́ ноги. Спокойнее и сильнее, вся напряга́ясь и чу́ствуя, как в ней растёт разбу́женная гóрдость, разгора́ется пода́вленная ра́дость, она́ говори́ла, выхвáтывая из чемодáна пáчки бума́ги и разбра́сывая их нале́во и напра́во в чýй-то бýстрые, жа́дные рýки.

— За что суди́ли сы́на моего́ и всех, кто с ним,— вы зна́ете? Я вам скажу́, а вы пове́рьте сёрдцу ма́тери, седым волосáм её,— вчера́ людéй за то суди́ли, что онí

несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становясь всё более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.

— Бедность, голод и болезни — вот что даёт людям их работа. Всё против нас — мы издыхаем всю нашу жизнь день за днём в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и держат нас, как собак на цепи, в невежестве — мы ничего не знаем, и в страхе — мы всего боимся! Ночь — наша жизнь, тёмная ночь!

— Так! — глухо раздалось в ответ.

— Заткни глотку ей!

Сздаи толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пакки, но, когда рука её опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку.

— Берите, берите! — сказала она, наклоняясь.

— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своєю массой, мешали им, быть может не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице, и, разобщённые жизнью, оторванные друг от друга, теперь они сливались в нечто целое, согретые огнём слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обижённые несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча, мать видела их жадно внимательные глаза и чувствовала на своём лице тёплое дыхание.

— Уходи, старуха!

— Сейчас, возьмёт!..

— Ах, дерзкая!

— Прочь! Разойдись! — всё ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга.

Ей казалось, что все готовы понять её, поверить ей, и она хотела, торопилась сказать людям всё, что знала все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины её сердца и слагались в песню, но она с обидою чувствовала, что ей не хватает голоса, хрипит он, вздрагивает, рвётся.

— Слово сына моего — чистое слово рабочего чело-

вѣка, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смелости!

Чьи-то юные глаза смотрели в лицо её с восторгом и со страхом.

Её толкнули в грудь, она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Всё почернело, закачалось в глазах матери, но, преодолевая свою усталость, она ещё кричала остатками голоса:

— Собирай, народ, силы свои во единую силу!

Жандарм большой красной рукой схватил её за ворот, встряхнул.

— Молчи!

Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду ёдким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым.

— Иди! — сказал жандарм.

— Не бойтесь ничего! Нет муки горше той, которой вы всю жизнь дышите...

— Молчать, говорю! — Жандарм взял под руку её, дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая, они повели мать.

— ...которая каждый день гложет сердце, сунит груды!

Шпион забежал вперёд и, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул:

— Молчать, ты, сволочы!

Глаза у неё расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:

— Душу воскресшую — не убьют!¹

— Собака!

Шпион ударил её в лицо коротким взмахом руки.

— Так её, стёрву старую! — раздался злорадный крик.

Что-то чёрное и красное на миг ослепило глаза матери, солёный вкус крови наполнил рот.

Дробный, яркий взрыв криков оживил её.

— Не смей бить!

¹ Душу воскресшую — не убьют — здесь в смысле: новое, революционное сознание рабочих не может быть уничтожено.

- Ребѣта!
- Ах ты, мерзѣвец!
- Дай ему!
- Не зальѣют крѣвью рѣзума!

Еѣ толкали в шею, спину, били по плечам, по головѣ, всё закружилось, завертелось тѣмным вихрем в криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под еѣ ногами, колебался, ноги гнулись, тѣло вздрагивало в ожогах боли, отяжелѣло и качалось, бессильное. Но глаза еѣ не угасали и видели много других глаз — они горѣли знакомым ей смѣлым, острым огнѣм, — родным еѣ сердцу огнѣм.

Еѣ толкали в двѣри.

Она вырвала руку, схватилась за косяк.

— Морями крови не угасят правды...

Ударили по руке.

— Только злобы накопите, безумные! На вас она падѣт!

Жандарм схватил еѣ за горло и стал душить.

Она хрипѣла.

— Несчастные...

Кто-то отвѣтил ей громким рыданіем.

П Е П Е

Из «Сказок об Италии»

Пёпе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пёстрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, тёмная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку, — дует ветер с моря и носит её, играя ею, — Пёпе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льётся его неутомимый голосишко:

Италия прекрасная,
Италия моя!..

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной¹ листве олив², в малахитовом³ кружеве виноградника, рыбы в тёмных садах на дне моря и форестьеры⁴ на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с расковыренным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актёра, который привык играть роль мизантропа⁵, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка.

¹ Чеканный — ясный, отчётливый.

² Олива — южное плодое дерево.

³ Малахит — горный камень ярко-зелёного цвета.

⁴ Форестьер — путешественник-иностранец, турист.

⁵ Мизантроп — человек, ненавидящий людей, нелюдям.

— Какое лицо! — говорит Пёпе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутього важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. — Вот лицо, не меньше моего живота!

...Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин, — Пёпе впереди его и напевает что-то из заупокной мессы¹ или печальную песенку...

Товарищи Пёпе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестёр посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать о Пёпе.

Однажды какая-то синьора² поручила ему отнести в подарок подруге её корзину яблок своего сада.

— Заработаешь сольдо!³ — сказала она. — Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил её на голову себе и пошёл, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но всё-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув, ответил Пёпе. — Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула.

— Отвечай, ты отнёс яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вёл себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки, — пусть, думаю, они сравнивают меня с ослём, я всё терплю из уважения к синьоре, — к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью, — ага, подумал я, ну, это вам не пройдёт даром. Тут я поставил корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как

¹ Заупокная месса — богослужение при похоронах.

² Синьора — госпожа.

³ Сольдо — итальянская мелкая монета.

ловко и метко попадал я в этих разбойников,— вы бы очень смеялись!

— Они растащили мой плод? — закричала женщина.

Пёпе, грустно вздохнув, сказал:

— О нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пёпе все проклятия, известные ей,— он слушал её внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда с тихим одобрением восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если бы видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников,— ах, если бы вы видели это! — вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя,— она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пёпе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу¹ богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливать здоровьем соком, как груша в августе.

Брат спросил её однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочешь,— с гордостью ответила она.

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пёпе и задумался, а потом спросил снова:

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

¹ В и л л а — богатый загородный дом.

— Мóжет быть, бóльше...

— Поди-ка, принеси мне одни́ не о́чень дли́нные и тёплые,— сказа́л Пёпе.

— За́чем?

— Ты ви́дишь — ка́кие у меня́?

Ви́деть э́то бы́ло тру́дно,— от штанов Пёпе на но́гах его́ остава́лось совсе́м немно́го.

— Да,— согласи́лась сестра́,— тебе́ необходи́мо оде́ться! Но он ве́дь мо́жет поду́мать, что мы укра́ли?

Пёпе внуши́тельно сказа́л ей:

— Не ну́жно счита́ть люде́й глупее́ нас! Когда́ от мно́гого беру́т немно́жко, э́то не кра́жа, а про́сто делёжка!

— Ве́дь э́то пёсня! — не соглаша́лась сестра́, но Пёпе бы́стро уговари́л её, а когда́ она́ принесла́ в ку́хню хоро́шие брю́ки све́тло-се́рого цве́та и они́ оказа́лись не́сколько дли́ннее́ все́го те́ла Пёпе, он то́тчас догада́лся, как ну́жно сде́лать.

— Да́й-ка нож! — сказа́л он.

Вдвоём они́ живо́ преврати́ли брю́ки америка́нца в о́чень удо́бный костю́м для ма́льчика: вы́шел не́сколько широкова́тый, но ую́тный мешо́к, он приде́рживался на плеча́х верёвочками, их мо́жно бы́ло завя́зывать вокру́г ше́и, а вме́сто рукаво́в отл́ично служи́ли карма́ны.

Они́ устро́или бы ещё́ лу́чше и удо́бнее, но им поме́шала в э́том супру́га хозя́ина брюк: яви́лась в ку́хню и нача́ла говори́ть са́мые гру́бые слова́ на всех язы́ках о́дина́ково пло́хо, как э́то при́нято америка́нцами.

Пёпе ниче́м не мог остано́вить её красноре́чие, он мо́рщился, прикла́дывал ру́ку к се́рдцу, хвата́лся в отча́янии за́ голову, уста́ло вздыха́л, но она́ не могла́ успоко́иться до поры́, пока́ не яви́лся её муж.

— В че́м де́ло? — спроси́л он.

И то́гда Пёпе сказа́л:

— Синьо́р, меня́ о́чень уди́вляе́т шум, по́днятый ва́шей синьоро́й, я да́же не́сколько оби́жен за вас. Она́, как я по́нял, ду́мает, что мы испор́тили брю́ки, но уверя́ю вас, что для меня́ они́ удо́бны! Она́, должно́ быть, ду́мает, что я взял по́следние ва́ши брю́ки и вы не мо́жете купи́ть дру́гих...

Америка́нец, споко́йно вы́слушав его́, заме́тил:

— А я ду́маю, мо́лодчик, что на́добно позва́ть поли́цию.

— Да-а? — о́чень уди́вился Пёпе.— За́чем?

— Чтóбы тебѣ отвели в тюрьмѹ...

Это óчень огорчѣло Пѣпе, он едва не заплакал, но сдержался и сказѧ с достóинством:

— Если это вам нрѧвится, синьóр, ёсли вы любите сажѧть людѣй в тюрьмѹ, то — конёчно! Но я бы не сдѣлал так, будь у меня мнóго брюк, а у вас ни однóй пѧры! Я бы дал вам две, пожѧлуй — три пѧры дѧже; хотѧ три пѧры брюк нельзя надѣть срѧзу! Осóбенно в жѧркий день...

Америкѧнец расхохотѧлся; ведь иногда и богѧтому бывает вёсело.

Потóм он угощѧл Пѣпе шоколѧдом и дал емѹ франк¹. Пѣпе попрóбовал монѣту зѹбом и поблагодарѣл:

— Благодарѹ вас, синьóр! Кѧжется, монѣта настоящѧя?

Всего лѹчше Пѣпе, когда он одѣн стоит гдѣ-нибудь в камнѧх, вдѹмчиво разглѧдывая их трѣщины, как бѹдто читѧ по ним тѣмную истóрию жѣзни кѧмня. В этѣ минуты живѣе его глазѧ расшѣрены, подѣрнуты красѣвой плѣнкой, тóнкие рѹки за спинóю и головѧ, немнóжко склонѣнная, чуть-чуть покѧчивается, тóчно чѧшечка цветкѧ. Он чтó-то мурлычет тихóнько,— он всегда поѣт.

Хорóш он тѧкже, когда смóтрит на цветы,— лилóвыми ручѣями льютсѧ по стенѣ глицинии, а перед нѣми этот мѧльчик вытѧнулся струнóю, бѹдто вслѹшиваясь в тѣхий трѣпет шѣлковѧх лепесткóв под дыхѧнием морскóго вѣтра.

Смóтрит и поѣт:

— Фиорѣно-о...² фиорѣно-о...

Издали, как удѧры огрóмного тамбурѣна³, доносѧтся глухѣе вздóхи мóря. Играют бѧбочки над цветѧми,— Пѣпе пóднял гóлову и следѣт за нѣми, щѹрѧсь от сóлнца, улыбаясь немнóжко завѣстливой и грустнóй, но всѣ-таки дóброй улыбкой стѧршего на землѣ.

— Чо! — кричѣт он, хлóпая ладóнями, пугѧ изумрудную ящерицу.

А когда мóре спокойнó, как зѣркало, и в камнѧх нет бѣлого кружева прибóя, Пѣпе, сѣдя гдѣ-нибудь на кѧмне, смóтрит óстрыми глазѧми в прозрачную водѹ: там, средѣ

¹ Ф р а н к — французская монѣта.

² Ф и о р ѣ н о — цветóчек.

³ Т а м б у р ѣ н — музыкѧльный инструмѣнт в вѣде барабѧна или бѹбна.

рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки¹, боком ползёт краб². И в тишине, над голубою водою, тихонько течёт звонкий, задумчивый голос мальчика:

— О море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:

— Этот будет анархистом!³

А кто добрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу, — те говорят иначе:

— Пёпе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра⁴, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит своё:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.

1911—1913

¹ Креветка — мелкий морской рак.

² Краб — морской рак.

³ Анархист — здесь: человек, не подчиняющийся власти, свободный.

⁴ С головою, отлитой из серебра — здесь: с седой головой.

КАК Я УЧИЛСЯ

Р а с с к а з

Когда мне было лет шесть-семь, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так.

Однажды вечером он достал откуда-то тоненькую книжку, хлопнул ею себя по ладони, меня по голове и весело сказал:

— Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз. Это — буки, это — ве́ди. По́нял?

— По́нял.

— Врёшь.

Он ткнул пальцем во вторую букву.

— Это — что?

— Бу́ки.

— Это?

— Ве́ди.

— А это? — Он указал на пятую букву.

— Не знаю.

— Добро́. Ну — это кака́я?

— Аз.

— Попал! Говори — глаго́ль, добро́, есть, живёте!

Он обнял меня за шею крепкой, горячей рукой и тыкал пальцами в буквы азбуки, лежавшей под носом у меня, и кричал, всё повышая голос:

— Земля́! Лю́ди! ¹

¹ Аз, бу́ки, ве́ди, глаго́ль, добро́, есть, живёте, земл́я, лю́ди — старинные названия букв славянского и русского алфавитов.

Мне было занятно видеть, что знакомые слова — добро, есть, живёте, земля, люди — изображаются на бумаге незатейливыми, маленькими знаками, и я легко запоминал их фигуры.

Часа два дед гонял меня по азбуке, и в конце урока я без ошибки называл более десяти букв, совершенно не понимая, зачем это нужно и как можно читать, зная названия буквенных знаков азбуки.

Насколько легче учиться грамоте теперь, по звуковому способу, когда а так и произносится а, а не аз, в — так и есть в, а не ве́ди. Великую благодарность заслужили учёные люди, придумавшие звуковой приём обучения азбуке, — сколько детских сил сохраняется благодаря этому и насколько быстрее идёт усвоение грамоты! Так — повсюду наука стремится облегчить труд человека и сберечь его силы от излишней траты.

Я запомнил всю азбуку дня в три, и вот наступило время учить слогá, — составлять из букв слова. Теперь, по звуковому способу, это делается просто, человек произносит звуки: о, к, н, о и сразу же слышит, что он сказал определённое, знакомое ему слово — окно́.

Я учился иначе: для того, чтоб сказать слово — окно́, я должен был проговорить длинную бессмыслицу: он-како-наш-он-но = окно́. Ещё труднее и непонятнее складывались многосложные слова, например: чтобы сложить слово полови́ца, нужно было выговорить: покóй¹-он-по = по, люди-он-ло = поло, ве́ди-ик-ви = ви = полови́, цы-аз-ца = ца = полови́ца! Или червя́к: червь-сть = че, рцы-ве́ди-яз-вя = рвя = червя́, ка́ко-ер = червя́к!

Эта путаница бессмысленных слогов страшно утомляла меня, мозг быстро уставал, соображение не работало, я говорил смешную чепуху и сам хохотал над ней, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Но нельзя было не хохотать, говоря такую чепуху, как например: мыслéте-он-мо = мо, рцы-добро́-ве́ди-йвин = = рдвин = мордвин; или: бу́ки-аз-ба = ба, ша-ка́ко-йже-ки = шки = башки́, арцы́-ер = башки́р! Понятно, что вместо мордвин, я говорил морди́н, вместо башки́р — шиби́р, однажды сказал вместо богоподобен — болтоподобен, а вместо епископ — скопидом. За эти ошибки дед жестоко

¹ Покóй — старинное название буквы «п» славянского и русского алфавитов.

порóл меня рóзгами и́ли трепáл зá волосы до головнóй бóли.

А ош́ибки бы́ли неизб́ежны, потому́ что в такомъ чт́ении слова́ труд́но пон́ять, приход́илось дога́дываться о смýсле их и говор́ить не то сло́во, кото́рое прочи́тал, да не по́нял, а похо́жее на него́ по звýкам. Чита́ешь «руко-де́лье», а говор́ишь — «мукосéй», чита́ешь «кружева́», говор́ишь — «жева́ть».

До́лго — с ме́сяц и бо́льше — ма́ялся я на изуч́ении сло́гов, но ста́ло ещё́ трудн́ей, когдá дед заста́вил меня́ чита́ть псалты́рь¹, напи́санный на церковносла́вянскомъ язы́кѣ. Дед хоро́шо и бо́йко чита́л на э́томъ язы́кѣ, но он сам пло́хо понимáл его́ разли́чие от гра́жданской а́збуки. Для меня́ яви́лись но́вые бу́квы пса, кси², дед не могъ объясн́ить, отку́да он́и, бил меня́ кула́ками по голо́вѣ и приговáривал:

— Не покóй, дьяволёнок, а пса, пса, пса!

Э́то была́ пы́тка, она́ продолжа́лась ме́сяца четы́ре, в конц́е концóв я науч́ился чита́ть и «по-гра́ждански», и «по-церко́вному»³, но получи́л реш́ительное отвращ́ение и вра́жду к чт́ению и кни́гам.

Осенью́ меня́ о́тдали в шко́лу, но че́рез н́есколько́ неде́ль я забол́ел о́спой и уч́ение прерва́лось, к нема́лой ра́дости мо́ей. Но че́рез годъ меня́ снóва сýнули в шко́лу — уже́ другóу.

Я прише́л туда́ в ма́териныхъ башма́кахъ, в пальти́шке, переши́том из ба́бушкиной ко́фты, в жёлтой рубáхе и штанáхъ «навы́пуск», всё э́то срáзу было́ осме́яно, за жёлтую рубáху я получи́л про́звище «бубно́вого туза́». С ма́льчиками я ско́ро пола́дил, но уч́итель и поп невзлю́били меня́.

Уч́итель былъ жёлтый, лы́сый, у него́ постано́нно текла́ кровь из но́са, онъ явля́лся в классъ, заткнóв нóздри ва́той, сади́лся за столъ, гнусáво спра́шивал уро́ки и вдругъ, за-

¹ Псалты́рь, и́ли псалты́рь, — кни́га церковныхъ песноп́ений — псалмо́в.

² Пса, кси (пси, кси) — назва́ния буквъ церковносла́вянского алфави́та.

³ Чита́ть и «по-гра́ждански», и «по-церко́вному». — Церко́вные кни́ги бы́ли напи́саны о́собымъ шрифто́м и на язы́кѣ, бли́зкомъ язы́ку ю́жныхъ сла́вян, такъ назывáемомъ церковносла́вянскомъ. При Петро́вѣ I бы́ло введе́но но́вое написа́ние буквъ, оно́ сохра́няется до насто́ящегоъ вре́мени. Э́та пи́сьменность назывáлась «гра́жданской», такъ какъ церко́вные кни́ги печата́лись по-ста́рому.

молча́в на полусло́бе, вы́та́скивал ва́ту из ноздрей, раз-
гля́дывал её, кача́я голово́ю. Лицо́ у него́ было плóское,
ме́дное, окисшее, в морщи́нах лежа́ла кака́я-то про́зе-
лень, о́собенно у́родовали э́то лицо́ соверше́нно ли́шние
на нём оловя́нные глаза́, так неприятно прилипа́вшие к
моему́ лицу́, что всегда́ хоте́лось вы́тереть ще́ки ладо́нью.

Не́сколько дней я сидёл в пе́рвом отде́ении, на пе-
ре́дней па́рте, почти́ впло́ть к столу́ учи́теля,— э́то было
нестерпи́мо, каза́лось, он никогó не ви́дит, кро́ме меня́,
он гну́сил всё вре́мя:

— Пёско-ов, перемені рубáху-у! Пёско-ов, не возі
нога́ми! Пёсков, о́пять у теб́я с о́буви лу́за нате́кла-а!

Я плати́л ему́ за э́то ди́ким озорствóм: одна́жды до-
ста́л полови́ну арбу́за, вы́долбил её и привяза́л на нитке
к бло́ку д́вери в полутёмных сенях. Когда́ дверь откры́-
лась — арбу́з взъе́хал вверх, а когда́ учи́тель притвори́л
дверь — арбу́з ша́пкой сел ему́ пра́мо на лы́сину. Сто́рож
отве́л меня́ с записко́й учи́теля до́мой, и я расплати́лся
за э́ту ша́лость своёй шку́рой.

Друго́й раз я насы́пал в ящик его́ стола́ ню́хательно-
го таба́ку, он так расчиха́лся, что уше́л из кла́сса, при-
сла́в вме́сто себя́ з́ятя своего́ — офице́ра, кото́рый заста́-
вил весь класс петь: «Бо́же, ца́ря храни́» и «Ах, ты, во́ля,
моя́ во́ля». Тех, кто пел невер́но, он щёлкал линейко́й
по голо́вам ка́к-то о́собенно звúчно и смешно́, но не
бо́льно.

Законоучи́тель, краси́вый и молодóй, пышново́лосый
поп, невзлюби́л меня́ за то, что у меня́ не́ было «Свя-
ще́нной исто́рии Ве́тхого и Но́вого завета́», и за то, что я
передра́знивал его́ манеру́ говори́ть.

Явля́ясь в класс, он пе́рвым де́лом спра́шивал меня́:

— Пёшков, кни́гу принёс и́ли нет? Да. Кни́гу?

Я отве́чал:

— Нет. Не принёс. Да.

— Что — да?

— Нет.

— Ну, и — ступа́й до́мой! Да. До́мой. Ибо теб́я учи́ть
я не наме́рен. Да. Не наме́рен.

Э́то меня́ не о́чень огорча́ло, я уходи́л и до конца́ уро́-
ков шата́лся по грязным у́лицам слободы́, присма́три-
вался к её шумно́й жи́зни.

Несмотря́ на то, что я учи́лся сно́сно, мне ско́ро было
ска́зано, что меня́ вы́гонят из шко́лы за недостóйное по-

ведёние. Я приуныл — это грозило мне великими неприятностями.

...Поправились дела мои в школе — дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из книг вótчима¹ — «Записки врача» Дюма-отца, и между страниц увидал два билета — в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне². Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

— Сказки — чушь, а вот — Робинзон — это настоящая история!

Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём — это чушь!

На другой день я принёс в школу «Священную историю» и два растрёпанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, — это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрёпаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители — китайцы и сам император — китаец», — помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе — не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

— Ты взял рубль?

¹ Отчим, или вótчим, — неродной отец.

² Книга «Робинзон Крузо» английского писателя Даниэля Деффо.

— Взял; вот — книги...

Сковоро́дником она́ меня́ и побі́ла ве́сьма́ усер́дно, а кни́ги Андерсена отняла́ и наве́гда́ спря́тала куда́-то, что бы́ло го́рше побоев.

В шко́ле я проучи́лся почти́ всю зи́му, а ле́том умерла́ моя́ мать, и дед то́тчас же о́тдал меня́ «в лю́ди» — в учени́ки к чертёжнику. Хотя́ я и прочита́л не́сколько интере́сных книг, но все́-таки о́собенного жела́ния чита́ть у меня́ не́ было, да и вре́мени на э́то не хвата́ло. Но ско́ро э́то жела́ние яви́лось и сра́зу же ста́ло сла́дкой му́кой моёй — об э́том я подро́бно расска́зал в кни́жке моёй «В лю́дях».

Созна́тельно чита́ть я научи́лся, когда́ мне бы́ло лет че́тырнадцать.

В э́ти го́ды меня́ увлека́ла уже́ не одна́ фа́була кни́ги, — бо́лее и́ли ме́нее интере́сное разви́тие изобража́емых собы́тий, — но я начина́л понима́ть красоту́ описа́ний, задумыва́ться над ха́рактерами де́йствующих лиц, сму́тно дога́дывался о це́лях а́втора кни́ги и трево́жно чу́вствовал разли́чие ме́жду тем, о чём говори́ла кни́га, и тем, что внуша́ла жизнь.

Жи́лось мне в ту по́ру тру́дно, — мои́ми хозя́евами бы́ли закорене́лые меша́не¹, лю́ди, гла́вным наслажде́нием кото́рых явля́лась оби́льная еда́, а еди́нственным развлече́нием — це́рковь, куда́ они́ ходи́ли, пи́шно наряжа́ясь, как наряжа́ются, идя́ в теа́тр и́ли на публі́чное гуля́нье. Рабо́тал я мно́го, почти́ до отупе́ния, бу́дни и пра́здни́ки бы́ли одина́ково загромо́жены ме́лким, бесмы́сленным, безрезультатным трудо́м.

Дом, в кото́ром жи́ли мои́ хозя́ева, принадлежа́л «подря́дчику»² землеко́пных и мостовы́х рабо́т, ма́ленькому корена́стому мужику́ с Кля́зьмы. Остроборо́дый, серогла́зый, он был зол, груб и ка́к-то о́собенно споко́йно жесто́к. У него́ бы́ло челове́к три́дцать рабо́чих, все — влади́мирские мужи́ки; жи́ли они́ в те́мном подва́ле с це́ментным по́лом и ма́ленькими о́кнами ни́же у́ровня земли́. Вече́рами, изму́ченные рабо́той, поу́жинав ща́ми из квашеной воню́чей капу́сты с требухо́ю и́ли солони́ной,

¹ Зако́ренелые меша́не. — Меша́не — лю́ди, не интере́сующиеся обще́ственными вопро́сами, за́нятые всеце́ло свои́ми ме́лками ли́чными интере́сами; за́коренелые — неисправимые.

² Подря́дчик — лицо́, кото́рое принима́ло зака́зы на выполне́ние ка́ких-либо рабо́т — строите́льных, землеко́пных и др.

от которой пахло селитрой¹, они выползали на грязный двор и валялись на нём,— в сыром подвале было душно и угарно от огромной печи. Подрядчик являлся в окнѣ своей комнаты и орал:

— Эй, вы, дьяволы, опять на двор вылезли? Развалились, свиньи! У меня в дому хорошие люди живут — али им приятно глядѣть на вас?

Рабочие покорно уходили в подвал. Всѣ это были люди печальные, они рѣдко смеялись, почти никогда не пѣли пѣсен, говорили кратко, неохотно и, всегда выпачканные землёй, казались мне покойниками, которых воскресили против их воли для того, чтобы мучить ещё целую жизнь.

«Хорошие люди» — офицеры, картѣжники и пьяницы, они били денщиков² до крови, били любовниц, пѣстро одѣтых женщин, куривших папиросы. Женщины тоже напивались и хлестали денщиков по щекам. Пили и денщики, пили помногу, насмерть.

В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступени, с длинной узкой книжкой в одной рукѣ, с обломком карандаша в другой; к нему гуськом, один за другим, подходили землекопы, точно нищие. Они говорили пониженными голосами, кланяясь и почёсываясь, а подрядчик орал на весь двор:

— Ладно, будет! Берѣ целковый! Чего? А в морду — хочешь? Хватит с вас! Иди прочь... Но!

Я знал, что среди землекопов есть немало однодеревенцев подрядчика, есть родственники его, но он со всеми был одинаково жесток и груб. И землекопы были тоже жестоки и грубы в отношеніи друг к другу, а особенно — к денщикам. Почти каждое воскресѣнье на дворе разгорались кровавые драки, гудѣла трёхэтажная грязная ругань. Землекопы дрались беззлѣбно, как бы выполняя надоёвшую им обязанность; избитый до крови отходил или отползал в сторону и там молча осматривал свой царапины, раны, ковырял грязными пальцами расшатанные зубы. Разбитое лицо, затѣкшие от ударов гла-

¹ Селитра — химический продукт, который широко применяется в технике, в сельском хозяйстве, а также для сохранения (консервирования) мяса.

² Денщик — солдат царской армии, который направлялся в распоряжение офицера для личных услуг.

за́ никогда́ не вызы́вали сострада́ния това́рищей, но е́сли была́ разбо́рвана руба́ха — все сожа́лели об э́том, а избы́тый хозя́ин руба́хи угрю́мо зли́лся, иногда́ пла́кал.

Эти сцены вызы́вали у меня́ неопи́сүемо тяжё́лое чу́вство. Мне бы́ло жа́лко люде́й, но я жа́лел их холо́дной жа́лостью, у меня́ никогда́ не возника́ло жела́ния сказа́ть кому́-нибу́дь из них ла́сковое сло́во, че́м-ли́бо помо́чь избы́тым — хотя́ бы воды́ пода́ть, что́бы о́ни смы́ли отврати́тельно-густу́ю кровь, сме́шанную с гря́зью и пы́лью. В су́щности, я не люби́л их, немно́жко бо́ялся и — произно́сил сло́во «мужи́к» так же, как мой хозя́ева, офице́ры, полково́й свяще́нник, сосе́д-пова́р и да́же денщи́к, — все э́ти лю́ди говори́ли о мужика́х с презре́нием.

Жале́ть люде́й — э́то тяжело́, всегда́ хо́чется ра́достно люби́ть кого́-нибу́дь, а люби́ть бы́ло не́кого. Тем горя́чее я полюби́л кни́ги.

Бы́ло и ещё́ мно́го гря́зного, жесто́кого, вызы́вавшего о́строе чу́вство отвраще́ния, — я не бу́ду говори́ть об э́том, вы са́ми зна́ете э́ту а́дову жизнь, э́то спло́шное издева́тельство челове́ка над челове́ком, э́ту боле́зненную страсть му́чить друг дру́га — наслажде́ние рабо́в. И вот в тако́й прокля́той обстано́вке я впервы́е стал чита́ть хоро́шие, серьёзные кни́ги...

Я, вероя́тно, не суме́ю переда́ть доста́точно я́рко и убе́дительно, как велико́ бы́ло моё изумле́ние, когда́ я почу́ствовал, что почти́ ка́ждая кни́га как бы открыва́ет предо мно́ю окно́ в но́вый, неве́домый мир, рассказы́вая мне о лю́дях, чу́вствах, мы́слях и отноше́ниях, кото́рых я не знал, не ви́дел. Мне каза́лось да́же, что жизнь, окру́жающая́ меня́, всё то суро́вое, гря́зное и жесто́кое, что ежедне́вно развёртывало́сь предо мно́ю, всё э́то — не настоя́щее, ненужное; настоя́щее и ну́жное то́лько в кни́гах, где всё бо́лее разу́мно, краси́во и челове́чно. В кни́гах говори́лось то́же о гру́бости, о глупо́сти люде́й, о их страда́ниях, изобража́лись злые́ и по́длые, но ря́дом с ни́ми бы́ли други́е лю́ди, каки́х я не ви́дал, о кото́рых да́же не слы́шал, — лю́ди че́стные, си́льные ду́хом, правди́вые, всегда́ гото́вые хоть на сме́рть ра́ди торже́ства пра́вды, ра́ди краси́вого по́двига.

Пе́рвое вре́мя, опьяне́нный новизно́ю и духо́вной значите́льностью ми́ра, откры́того для меня́ кни́гами, я стал счита́ть их лу́чше, интере́снее, бли́же люде́й и — как бу́дто — немно́го ослеп, гля́дя на действите́льную жизнь

сквозь книги. Но суровая умница жизнь позаботилась вылечить меня от этой приятной слепоты.

По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал из окна душной, пропахшей жиром кухни на крышу и там читал. По двору плавали, как сомы, полупьяные или сонные землекопы, визжали горничные, прачки и кухарки от жестоких нежностей денщиков, я — посматривал с высоты на двор и величественно презирал эту грязненькую, пьяную, распутную жизнь.

Один из землекопов был десятник, или «нарядчик»¹, как они звали его, угловатый, неладно сделанный из тонких костей и синих жил старичок Степан Лёшин, человек с глазами голодного котё и седенькой, смешно рассеянной бородкой на коричневом лице, на жилистой шее и в ушах. Оборванный, грязный, хуже всех землекопов, он был самый общительный среди них, но они замётно боялись его, и даже сам подрядчик говорил с ним, понижая свой крикливый, всегда раздражённый голос. Я не раз слышал, как рабочие ругали Лёшина за глаза:

— Скупой чёрт! Иуда! Холуй!

Старичок Лёшин был очень подвижен, но не суетлив, он как-то тихонько, незаметно являлся то в одном углу двора, то в другом, везде, где собиралось двое-трое людей: подойдёт, улыбнётся кошачьими глазами и, шмыгнув широким носом, спрашивает:

— Ну, что, а?

Мне казалось, что он всегда чего-то ищет, ждёт какого-то слова.

Однажды, когда я сидел на крыше сарая, Лёшин, покрикивая, влез ко мне по лестнице, сел рядом и, понюхав воздух, сказал:

— Сенцом пахнет... Это ты хорошо место нашёл — и чисто, и от людей в стороне... Чего читаешь?

Он смотрел на меня ласково, и я охотно рассказал ему о том, что читал.

— Так, — сказал он, покачивая головой. — Так-так!

Потом долго молчал, ковыряя чёрным пальцем руки разбитый ноготь на левой ноге, и вдруг, скосив глаза на меня, заговорил, негромко и певуче, точно рассказывая:

— Был во Владимире учёный барин Сабанёев, боль-

¹ Десятник, или «нарядчик», — рабочий, который наряжает — то есть ставит людей на работу и является старшим над группой рабочих.

шбй человек, а у него — сын Петруша. Тбже все книжки читал и других к тому приохочивал, так его — заарестовали.

— За что? — спросил я.

— За это самое! Не читай, а коли читаешь — помалкивай!

Он усмехнулся, подмигнул мне и сказал:

— Гляжу я на тебя — сурьезный ты, не озоруеть. Ну, ничего, живи...

И, посидев на крыше ещё немножко, он спустился на двор. После этого я заметил, что Лёшин присматривается ко мне, следит за мной. Он всё чаще подходил ко мне со своим вопросом:

— Ну, что, а?

Однажды я рассказал ему какую-то очень взволновавшую меня историю о победе доброго и разумного начала над злым, он выслушал меня очень внимательно и, качнув головою, сказал:

— Бывает.

— Бывает? — радостно спросил я.

— Да ведь — а как же? Всё бывает! — утвердил старик. — Вот я те поведаю...

И «поведал» мне тоже хорошую историю о живых, не книжных людях, а в заключение сказал, памятно:

— Конечно, ты эти дела вполне понять не можешь, однако — разумей главное: пустяков много, в пустяках запутался народ, ходу нет ему — к богу ходу нет, значит! Великое стеснение от пустяков, понимаешь?

Эти слова толкнули меня в сердце оживляющим толчком, я как будто прозрёл¹ после них. А ведь в самом деле, эта жизнь вокруг меня — пустяковая жизнь, со всеми её драками, распутством, мелким воровством и матерщиной, которая, может быть, потому так обильна, что человеку не хватает хороших, чистых слов.

Старик прожил на земле впятеро больше меня, он много знает, и, если он говорит, что хорошее в жизни действительно «бывает», — надобно верить ему. Верить — хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я догадывался, что они изображают всё-таки настоящую жизнь, что их, так сказать, списывают с действительности, значит — думал я — и в действительности должны

¹ Прозреть — стать зрячим, не слепым; здесь: понял, узнал.

быть хоро́шие лю́ди, отличные от ди́кого подря́дчика, мо́их хозя́ев, пьяных офице́ров и воо́бщѣ всех люде́й, извѣстных мне.

Это откры́тие было́ для меня́ о́громною ра́достью, я стал веселе́е смотре́ть на всё и ка́к-то лу́чше, внима́тельнее отно́ситься к лю́дям и, прочита́в что-нибу́дь хоро́шее, пра́здничное, стара́лся сказа́ть об э́том землекопам, денщика́м. Онѣ не о́чень охот́но слу́шали меня́ и, ка́жется, не ве́рили мне, но Степа́н Ле́шин все́гда говори́л:

— Быва́ет. Все́ быва́ет, брато́к!

Удивите́льно си́льное значе́ние имело́ для меня́ э́то кра́ткое, му́дрое сло́во! Чем ча́ще я слы́шал его́, тем бо́лее оно́ буди́ло во мне чу́ство бо́дрости и упря́мства, о́строе жела́ние «поста́вить на своём». Ведь е́сли «всё быва́ет», значи́т, бу́дет и то, чего́ мне хо́чется? Я замеча́л, что во дни наибольш́их обид и огорче́ний, наноси́мых мне жи́знью, в тяжёлые дни, кото́рых сли́шком мно́го испы́тал я, и́менно в таки́е дни чу́ство бо́дрости и упря́мства в дости́жении це́ли о́собо́нно повыша́ется у меня́, в э́ти дни меня́ с наибольш́ею си́лою охва́тывало ю́ное Геркулесово жела́ние чи́стить а́вгиевы коню́шни жи́зни¹. Э́то оста́лось за мно́ю и тепе́рь, когда́ мне пятьдеся́т лет, оста́нется до сме́рти, и э́тим сво́йством я обяза́н свяще́нному писа́нию челове́ческого ду́ха — кни́гам, отража́ющим вели́кие муче́ния и пы́тки расту́щей ду́ши челове́ка, нау́ке — поэ́зии ра́зума, иску́ству — поэ́зии чувств.

Кни́ги продолжа́ли открыва́ть предо мно́ю но́вое; о́собо́нно мно́го дава́ли мне два иллюстри́рованных журна́ла: «Всеми́рная иллюстра́ция» и «Живопи́сное обозре́ние». Их карти́нки, изобража́вшие города́, люде́й и собы́тия иностранной жи́зни, всё бо́лее и бо́лее расширя́ли предо мной мир, и я чу́ствовал, как он растёт, о́громный, интере́сный, напо́лненный вели́кими дея́ниями.

Хра́мы и дворцы́, не похо́жие на на́ши це́ркви и дома́, ина́че оде́тые лю́ди, ина́че укра́шенная челове́ком земля́, чуде́сные маши́ны, изуми́тельные изде́лия — всё э́то внуша́ло мне чу́ство како́й-то непоня́тной бо́дрости и вызы́вало жела́ние то́же что́-то сде́лать, постро́ить.

¹ Геркулесово жела́ние чи́стить а́вгиевы коню́шни жи́зни.—Здесь: героическое жела́ние очисти́ть жизнь от вся́кого зла и ме́рзости. Геро́й древнегрече́ских мифов Гера́кл (Геркулес), соверша́я один из своих двена́дцати по́двигов, очисти́л за один день не чи́стившиеся мно́го лет коню́шни царя́ Авгия, напра́вив в них во́ду реки́.

Всё было различно, не похоже, но однако я смутно сознавал, что всё насыщено одной и той же силой — творческой силой человека. И моё чувство внимания к людям, уважение к ним росло.

Я был совершенно потрясён, когда увидел в каком-то журнале портрет знаменитого учёного Фарадея¹, прочитал непонятную мне статью о нём и узнал из неё, что Фарадей — был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой.

«Как же это? — недоверчиво думал я. — Значит, который-нибудь из землекопов тоже может сделаться учёным? И я — могу?»

Не верилось. Я стал доискиваться — нет ли ещё каких-нибудь знаменитых людей, которые были бы сначала рабочими? В журналах никого не нашёл; знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими, и назвал мне несколько имён, между прочим — Стэфенсона², но я не поверил гимназисту.

Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью: я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего, и все они становились более близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатлённой на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мой глаз, мой разум соприкасались с ними.

Нерёдко я плакал, читая, — так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они.

¹ Фарадей Майкл (1791—1868) — выдающийся английский физик; в детстве работал переплётчиком, получил научные знания путём самообразования.

² Стэфенсон Джордж (1781—1848) — выдающийся английский изобретатель в области железнодорожного транспорта. Сын шахтёра, подростком был коногёном в шахте, школьного образования не получил.

И, мальчишка, задёрганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту.

Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своём стремлении к добру и красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более толково работал и обращал всё меньше внимания на бесчисленные обиды жизни.

Каждая книга была маленькой ступенью, поднимаясь на которую я восходил от животного к человеку, к представлению о лучшей жизни и жажде этой жизни. А перегруженный прочитанным, чувствуя себя сосудом, до краёв полным оживляющей влаги, я шёл к денщикам, к землекопам и рассказывал им, изображал перед ними в лицах разные истории.

Это их забавляло.

— Ну, шельма,— говорили они.— Настоящий комедиант! Тебе в балаган, на ярмарку надо!

Конечно, я ждал не этого, а чего-то другого, но — был доволен и этим.

Однако мне удавалось иногда,— не часто, разумеется,— заставить владимирских мужиков слушать меня с напряжённым вниманием, а не раз доводить некоторых до восторга и даже до слёз — эти эффе́кты¹ ещё более убеждали меня в живой возбудительной силе книги.

Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиками,— этот молчаливый озорник отвёл меня однажды в угол за конюшню и предложил мне:

— Лексёй, научи меня книге читать, я тебе полтину дам, а не научишь — бить буду, со света сживу, ей-богу, вот — крещусь!

И размашисто перекрестился.

Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом, но дело сразу пошло хорошо, Рыбаков казался упрям в непривычном труде и очень понятлив. Недель через пять, возвращаясь с работы, он тайно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуясь:

¹ Э ф ф е к т — сильное впечатление, ощущение.

— Гляй!¹ — Это я с забора сорвал, что тут сказано, а? Погоди — «продаётся дом» — верно? Ну — продаётся? — Верно.

Рыбакóв страшно вѣтарашил глаза́, лоб его́ покрѣлся пото́м, помолча́в, он схватѣл меня́ за плечо́ и, раскáчивая, тихóнько говорѣл:

— Понима́ешь — гляжу́ на забор, а мне бѣ́дто шѣпчет кто: «продаётся дом»! Го́споди помѣ́луй... Пря́мо как шѣпчет, ей-бо́гу! Слу́шай, Лексе́й, неужто я вѣ́учился — ну?

— А чита́й-ка да́льше!

Он уткну́л нос в бума́гу и зашепта́л:

— «Двух — ве́рно? — е́та́жный, на ка́мен-ном...»

Ро́жа его́ расплыла́сь широча́йшей улы́бкой, он мотну́л голово́й, вѣ́ругался ма́терно и, посме́иваясь, стал аку́ратно свѣ́ртывать бума́жку.

— Это я оста́влю на па́мять — как она́ пе́рвая... Ах ты, го́споди... Понима́ешь? Как бѣ́дто — шѣпчет, а? Дико́вина, брат. Ах ты...

Я хохота́л безу́мно, ви́дя его́ густу́ю, тяжѣ́лую ра́дость, его́ де́тское ми́лое недоуме́ние перед та́йной, вскрѣ́вшейся перед ним, та́йной усво́ения посре́дством ма́леньких че́рных зна́ков чужо́й мы́сли и ре́чи, чужо́й ду́ши.

Я мог бы мно́го расска́зать о том, как чтѣ́ние книг — э́тот приви́чный нам, обы́денный, но в существѣ́ своѣ́м та́инственный проце́сс духо́вного сли́яния челове́ка с ве́ликими ума́ми всех вре́мён и наро́дов — как э́тот проце́сс чтѣ́ния ино́гда вдруг освещáет челове́ку смы́сл жи́зни и ме́сто челове́ка в ней, я зна́ю мно́жество та́ких чуде́сных явле́ний, испо́лненных почти́ сказа́зочной красо́ты.

Не могу́ не расска́зать об одно́м из та́ких слу́чаев.

Я жил в Арзамáсе, под надзо́ром поли́ции, мой сосе́д, зе́мский нача́льник Хотя́инцев, о́собенно невзлюби́л меня́ — до того́, что да́же запрети́л своѣ́й прислу́ге бесе́довать по вечера́м у воро́т с моѣ́й куха́ркой. Полице́йского поста́вили пря́мо под окно́ мне, и он с на́йвной бесце́ремонно́стью загля́дывал в ко́мнаты, ко́гда находи́л э́то ну́жным. Всѣ́ э́то о́чень напугáло горожа́н, и до́лгое вре́мя никто́ из них не решáлся зайти́ ко мне.

Но одна́жды, в пра́здник, яви́лся криво́й челове́к

¹ Гля́й — то есть гляди́.

в поддёвке, с узлом под мышкой, и предложил мне купить у него сапоги. Я сказал, что мне не нужно сапог. Тогда кривой, подозрительно заглянув в дверь соседней комнаты, тихонько заговорил:

— Сапоги — это для прикрытия настоящей причины, господин писатель, а пришёл я попросить — нет ли хорошей книжечки почитать?

Его умный глаз не возбуждал сомнения в искренности желания и окончательно убедил меня в ней, когда на мой вопрос — какую бы хотел он получить книгу, кривой обдуманно сказал робким голосом и всё оглядываясь:

— Насчёт законов жизни что-нибудь, то есть — законов мира. Не понимаю законов этих — как жить и — вообще. Тут недалеко казанский профессор математик на даче живёт, так я у него, за починку обуви и за садовые работы, — я тоже и садовник, — уроки математики беру, только она мне не отвечает, а сам он — молчаливый...

Я дал ему плохонькую книжку Дрейфуса¹ «Мировая и социальная эволюция» — единственное, что нашлось у меня по вопросу.

— Чувствительно благодарен! — сказал кривой, бережно засунув книгу за голенище сапога. — Позвольте прийти к вам для беседы, когда прочитаю... Только я на этот раз придусь садовником, будто малину в саду подрезать, а то, знаете, полиция — очень окружает вас, и вообще — неудобно мне...

Он пришёл дней через пять, в белом фартуке, с садовыми ножницами, пучком мочала в руках, и удивил меня своим радостным видом. Его глаз сверкал весело, голос звучал громко и твёрдо. Почти с первых же слов он ударил ладонью по книжке Дрейфуса и заговорил торопливо:

— Могу я сделать отсюда такое умозаключение, что бога — нет?

Я не поклонник таких поспешных «умозаключений» и потому начал осторожно допрашивать его — чем привлекает его именно это «умозаключение».

— Для меня это — главнейшее! — горячо и тихо за-

¹ Дрейфус Фердинанд Камилла — французский политический деятель конца XIX века.

говорил он.— Я так рассуждаю, как все подобные: ежели существует господь бог и всё в его воле, стало быть, я должен тихо жить, покорствуя высшим предначертаниям божьим. Весьма много прочитал божественного — библию, Тихона Задонского сочинения, Златоуста, Ефрема Сирина и всё прочее. Однако — я желаю знать: отвечаю я за себя и за всю жизнь или нет? По писанию выходит — нет, живи, как предугазано, и все науки — ни к чему. Также и астрономия — фальшь одна, выдумка. И математика тоже и всё вообще. Вы, конечно, с этим не согласны, чтобы покорствоваться?

— Нет,— сказал я.

— А почему же я должен быть согласен? Вот вас за несогласность под надзор полиции выслали сюда, значит — вы решаетесь восставать против священного писания, потому что я так понимаю: всякое несогласие — обязательно против священного писания. Из него все законы подчинения, а законы свободы — от науки, то есть от человеческого разума. Теперича¹ — дальше: ежели бог, то мне делать нечего, а без него — я должен отвечать за всё, за всю жизнь и всех людей! Я желаю отвечать, по примеру святых отцов, только иначе — не подчинением, а сопротивлением злу жизни!

И, снова ударив ладонью по книге, он добавил с убеждением, явно непоколебимым:

— Всякое подчинение — зло, потому что оно укрепляет зло! И вы меня извините — я этой книжке верю! Она для меня — как тропь в дремучем лесу. Я уж так решил для себя — отвечаю за всё!

Мы дружески беседовали до поздней ночи, и я убедился, что неважная маленькая книжка была последним ударом, оформившим мятёжные² поиски человеческой души в твёрдое религиозное верование, в радостное преклонение пред красотой и силой мирового разума.

Этот милый, умный человек действительно честно сопротивлялся злу жизни и спокойно погиб в 907-м году.

Вот так же, как угрюмому озорнику Рыбакову, книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал; вот так же, как кривому сапожнику, они указывали мне моё место в жизни. Окрыляя ум

¹ Теперича — правильно: теперь.

² Мятёжные (мятеж) — беспокойные.

и сердце, книги помогли мне подняться над гнилым болотом, где я утонул бы без них, захлебнувшись глупостью и пошлостью. Всё более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких невероятных страданий стоило это ему.

И в душе моей росло внимание к человеку — ко всякому, кто бы он ни был, скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, радостнее — жизнь наполнялась великим смыслом.

Так же, как в кривом сапожнике, книги воспитали во мне чувство личной ответственности за всё зло жизни и вызвали у меня религиозное преклонение пред творческой силой разума человеческого.

И с глубокой верою в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.

Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда.

Во всём, что сделано и делается человеком, в каждой вещи — заключена его душа, всего больше этой чистой и благородной души в науке, в искусстве, всего красноречивее и понятнее говорит она — в книгах.

ИЗ ПИСЕМ А. М. ГОРЬКОГО

Е. П. ПЕШКОВОЙ

Май 1898¹, Тифли́с

Сравнительно — всё обстоит недурно. В Тифли́с я приехал третьего дня — а какой сегодня день, не знаю. Приехал ночью, часа в 2, сейчас же меня отправили в Мэтэх или Метэх, — тюремный замок на берегу Куры, на высокой скале. Заперли меня в камеру, и я проспал чуть ли не целые сутки, потому что во время переезда по Военно-Грузинской дороге не мог уснуть, хотя и был утомлён, — изумительно хороша эта дорога!

Ну, как поживает Максим? Не говорит ли каких-либо новых слов? Здоров ли? Что нянька? Ушла ли старая, есть ли другая, имеешь ли кухарку и т. д. — изобрази мне все домашние дела обстоятельно и подробно, пиши — в Тифли́с, тифли́сское губернское жандармское управление, для меня.

Житьёшко моё не так уж плохо — сегодня разрешили иметь книги, бумагу, чернила, так что с завтрашнего дня я сажусь за работу. Питаюсь — сносно, здоровье — недурно, настроение — ровное и спокойное, хотя во время допроса немножко взволновался. Увы — человек я, и человек ты знаешь какой.

...Камера у меня большая, 10 и 7 шагов, в ней два окна на Куру и прекрасный вид на азиатскую часть города, разбросанную на крутой горе, очень оригинальную и своей жизнью и физиономией. Я смотрю из окна и наблюдаю, как работают за рекой против меня кожевники, как проводит свой день одна маленькая девочка, ловят рыбу наметкой и так далее. Иногда хочется взять на руки Максима и подбросить его к потолку, но я долго сентиментальным не бываю.

В сущности — знаешь что? и у тюрьмы есть своё достоинство, это — её режим. Больше писать не стану.

Хлопочи о поручках, будь здорова и спокойна, береги

¹ Даты написания писем до 1917 года указаны по старому стилю, после 1917 года — по новому стилю.

сынiшку,— и — ты хорошо сделаешь, если, не ожидая меня, переедешь на дачу в Мызу или поедешь к Марии Сергеевне. Я думаю, что и с поручиками дело затянется, поэтому в интересах ребёнка тебе не следует жить в городе. Поезжай-ка в Самару, Катя. Маме своей ты бы не сообщала о происшествии со мной — скажи, что состояние моего здоровья вдруг ухудшилось и я уехал на Кавказ. Разумеется, она узнает правду, но уже тогда, когда факт будет лишён остроты.

Итак — до свидания, Катя! Пиши подробнее. Да, напиши-ка издателю, пусть он вышлет мои книги для отзыва в Тифлис, газете «Кавказ», — она была ко мне благосклонна. Целую сынiшку и тебя.

Алексей

Как поживают птички? Если ты их не выпустила, то выпускай. Я теперь понимаю, до чего неудобно сидеть в клетках, — и — хочу быть гуманным. Будь же спокойна, нужно привыкать к несчастьям — их и ещё не мало будет у тебя. Помни только, что ничто не бесконечно, всё придёт. Держись крепче!

Письмо печатается с небольшими сокращениями.

Письмо было написано в тюрьме, называемой Метех, Перед отправкой письмо просматривалось прокурором.

В 1898 году А. М. Горький жил в Нижнем Новгороде. В ночь на 7 мая он был арестован, а на следующий день под конвоем (то есть в сопровождении жандармов) отправлен в Тифлис, где был заключён в тюрьму. Горький был привлечён по делу тифлисского революционного кружка, с которым он был связан в 1891—1892 годах, когда жил в Тифлисе.

Максим. — Максим Алексеевич (1897—1934) — сын А. М. Горького.

Азиатская часть города — старая часть города.

Ловят рыбу намёткой — то есть рыболовной сетью, прикреплённой к длинному шесту.

Хлопочи о поручиках. — Арестованного иногда выпускали из тюрьмы под ответственность (поручительство) какого-либо лица в том, что до окончания следствия арестованный не скроется. Поручитель обычно вносил в качестве залога определённую сумму денег.

На дачу, в Мызу — дачная местность под Нижним Новгородом.

Поедешь к Марии Сергеевне. — Мария Сергеевна Позерн, знакомая А. М. Горького по Самаре, общественная деятельница. Ей он

посвятил второй том своих «Очерков и рассказов», изданных в 1898 году.

Газете «Кавказ», — она была ко мне благосклонна. — Газета издавалась в Тифлисе. В 1892 году в ней был напечатан рассказ М. Горького «Макар Чудра». Это было его первое опубликованное произведение.

А. П. ЧЕХОВУ

Октябрь—ноябрь 1898. Н.-Новгород

В. С. Миролубов сообщил мне, что Вы выразили желание получить мои книжки. Посылаю их и, пользуясь случаем, хочу что-то написать вам, Антон Павлович.

Собственно говоря — я хотел бы объяснить Вам в искреннейшей горячей любви, кою безответно питаю к Вам со времён молодых ногтёй моих, я хотел бы выразить мой восторг пред удивительным талантом Вашим, тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, всегда таким красивым, тонким. Эх, чёрт возьми, — жму руку Вашу, — руку художника и сердечного, грустного человека, должно быть, — да?

Дай боже жизни Вам во славу русской литературы, дай боже Вам здоровья и терпения — бодрости духа дай Вам боже!

Сколько дивных минут прожил я над Вашими книгами, сколько раз плакал над ними и злился, как волк в капкане, и грустно смеялся подолгу.

Вы, может быть, тоже посмеётесь над моим письмом, ибо — чувствую, пишу ерунду, бессвязное и восторженное что-то, но это, видите ли, потому всё так глупо, что исходит от сердца, а всё исходящее от сердца — увы! глупо, даже если оно и велико, — Вы сами знаете это.

Ещё раз жму руку Вашу. Ваш талант — дух чистый и ясный, но опутанный узами земли — подлыми узами будничной жизни, — и потому он тоскует. Пусть его рыдает — зов к небу и в рыданиях ясно слышен.

А. Пешков

Может, захотите написать мне? Прямо — Нижний, Пешкову, а то — «Нижегородский листок».

Первое письмо А. М. Горького А. П. Чехову.

Виктор Сергеевич Миролубов — редактор и издатель петербург-

ского «Журнала для всех», в котором сотрудничал Горький. В октябре 1898 года Миролубов был в Ялте и виделся с А. П. Чеховым. Горький посылает Чехову два тома своих «Очерков и рассказов».

«Нижегородский листок» — газета, издававшаяся в Нижнем Новгороде. Горький был сотрудником этой газеты.

Н. Д. ТЕЛЕШОВУ

Декабрь 1900, Н. Новгород

Николай Дмитриевич — спасайте!

Ибо — погибáю!

Успех прошлогóдней моёй ёлки, устроённой на 500 ребятшек из трущоб, увлёл меня — и в сем году я затéял ёлку на 1000! Увы — широко шагнул! Отступать же — поздно!

Прошу, молю, кричу — помогите обóрванным, голо́дным дётям — жителям трущоб! Николай Дмитриевич, пожалуйста, собирайте всё, что дадут:

два аршина ситцу и пятачок, пол-аршина бума́зи и старые сапоги́, фунт конфéкт, и ша́пку — всё берём! Всё!

Увёрен в Вашей добротé, надеюсь на Вашу эне́ргию.

Кланяюсь супру́ге, Ива́ну Алек(сеевичу) и всем зна́комым.

Как бы то́лько затéя моя не пронíкла в газéты! Ох, господа!

Кре́пко жму ру́ку!

Пожа́луйста!

Бо́лен, никуда́ не выхожу́. За́втра умру́. Хороните без пёвчих, венков — не на́до, лу́чше пришлите́ пять фу́нтов лавро́вого листу́ на ёлку бе́дным дётям.

*Ваш А. Пёшков,
живу́щ в Нижнем, Канáтная, д. Лёмке.*

Николай Дмитриевич Телешов (1867—1957) — писатель. В своей книжке «Записки писателя» Телешов рассказывает: «...Алексей Максимович устраивал в эти годы в Нижнем Новгороде знаменитые «ёлки» для детей из трущоб, организуя весёлые праздники и зрелища для ребят, никогда не видавших и не знавших развлечений, и оделяя

их башмаками, рубашками и штанами, а также книжками, сладостями и едой». В ответ на просьбу Горького Телешов выслал ему деньги и книги.

Ивану Алексеевичу. — Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) — писатель.

Л. Н. ТОЛСТОМУ

Май 1901, Н.-Новгород

Спасибо Вам, Лев Николаевич, за хлопоты обо мне. Из тюрьмы меня выпустили под домашний арест, что очень хорошо — ввиду близких родов у жены. Просидел я всего лишь месяц и, кажется, без ущерба для здоровья, да и на здоровье жены вся эта канитель не очень сильно отозвалась, так что — всё обстоит благополучно. Следствие ещё продолжается, но закончится оно пустяками для меня, — наверное, только выгонят из Нижнего и отдадут под надзор.

Ещё раз — спасибо Вам! Прошу прощения, что вся эта канитель коснулась Вас. Нízко клáняюсь С. А. и всему Вашему семейству. Быть «под домашним арестом» — ужасно смешно! В кухне полицейский сидит, на крыльце — другой, на улице — ещё. Гулять можно только в сопровождении полицейского и лишь около дома, а на людные улицы — не пускают. Полицейским тоже смешно караулить человека, который не только не намерен бежать из города, но и по своей-то воле уехать из него — не хочет. Ну, всего хорошего Вам, здоровья, бодрости, покоя! Крепко жму руку Вашу.

А. Пешков

В 1901 году Горький был арестован. Л. Н. Толстой писал заместителю министра внутренних дел, он просил, чтобы Горького, «больного, чахоточного не убивали до суда и без суда содержанием в ужасном... нижегородском остроге. Я лично знаю и люблю Горького не только как даровитого, ценного и в Европе писателя, но и как умного, доброго и симпатичного человека».

17 мая Горький был освобождён из тюрьмы под домашний арест. В июне домашний арест был снят и установлен «особый надзор» полиции за Алексеем Максимовичем.

С. А. — Сбфья Андреевна Толстая, жена Льва Николаевича.

Октябрь, 1905, Москва

Милый Фёдор!

Приходи завтра вечером?

Меня охраняет кавказская боевая дружина — 8 человек — славные такие парни. Им очень хочется посмотреть на тебя. Мне — тоже. Приходи!

А л е к с е й

Осенью 1905 года революционное движение в России нарастало и вылилось в октябрьскую политическую забастовку, которая охватила всю страну. Железные дороги, почта, телеграф не работали, прекратили работу около миллиона промышленных рабочих. 17 октября испуганное этими событиями царское правительство выступило с манифестом (торжественным извещением), в котором обещало свободу слова, союзов, собраний. Этим царь хотел выиграть время, сорвать революционный подъем. Для подавления революции были созданы полицейские организации, где видную роль играли помещики, купцы, были привлечены и уголовные преступники. Эта так называемая «черная сотня» открыто нападала, где только могла, на революционеров, рабочих, студентов, избивала, убивала их. Для борьбы с этими бесчинствами и зверствами рабочие создали свои боевые дружины. В очерке, посвященном замечательному революционеру Петросяну — «Камб», Горький писал, что у него на квартире «...жила боевая дружина грузин, двенадцать человек. Организованная Л. Б. Красиным и подчиненная группе товарищей-большевиков, Комитету, который пытался руководить революционной работой рабочих Москвы, — дружина эта несла службу связи между районами и охраняла мою квартиру в часы собраний. Несколько раз ей приходилось выступать активно против «черных сотен».

Л. Б. Красин — крупный партийный работник, большевик.

Ф. И. Шаляпин исполнил просьбу Горького.

ДЕТЯМ САХАЛИНА

— Здравствуйте, ребята!

Получил ваше письмо. Посылали вы его января 10, а до меня оно дошло 17 марта, — вот как далеко от вас я живу!

Вы очень хорошо сделали, написав мне. Ваше письмо — подарок, которым я горжусь, как орденом.

Я получа́л пи́сьма от дете́й европе́йцев, коне́чно, их пи́сьма то́же ра́довали меня́, но — не так глубоко́, как ва́ше пи́сьмо, де́ти гиляко́в, тунгу́сов, орочо́н. Ведь неуди-вительно, что де́ти европе́йцев гра́мотны, — удиви́тельно и печа́льно, что сре́ди них есть безгра́мотные. А вы — де́ти племе́н, у кото́рых не́ было гра́моты, ва́ших отцо́в избива́ли, гра́били ру́сские и япо́нские купцы́, двунóгие зве́ри, ва́ших отцо́в обмáнывали и держа́ли в темноте́ шамáны, такие́ же обмáнщики, как европе́йские по́пы. И вот вы — учи́тесь, а че́рез не́сколько лет вы са́ми бу́дете учителя́ми и вождя́ми ва́ших племе́н, откро́ете пред ни́ми широ́кую, све́тлую доро́гу ко всеóбщему бра́тству рабо́чего наро́да всей земли́. Вот в э́том — вели́кая ра́дость для меня́ и для вас.

Что ну́жно осо́бенно хорошо́ знать, по́мнить для того́, что́бы пра́вильно жить? Пре́жде всего́, на́добно знать и по́мнить, что всё на земле́ создаётся трудо́м и что настоя́щим, зако́нным хозя́ином всей земли́ и всего́, что сде́лано на ней, — явля́ется рабо́чий наро́д, рабо́чий класс. Для рабо́чего клáсса не должно́ быть ни орочо́н, ни тунгу́сов, ни гиляко́в, ни чу́кчей и яку́тов, ни япо́нцев и́ли америка́нцев и ру́сских, — рабо́чие лю́ди всего́ ми́ра — това́рищи, о́громная, еди́ная семья́ хозя́ев земли́ и строи́телей но́вого ми́ра, в кото́ром не бу́дет бога́тых и бе́дных, обмáнщиков и обмáнутых, грабителей и огра́бленных, уби́йц и убива́емых.

Кто мо́жет пострóить мир так, чтоб в нём исче́зла вражда́ бога́тых люде́й, кото́рые из жа́дности к деньга́м затева́ют крова́вые во́йны?..

Тако́й мир мо́гут пострóить то́лько рабо́чие. То́лько рабо́чие мо́гут прекра́тить бесполе́зный труд, затра́чиваемый на вы́работку ру́жей, пу́шек, во́енных судов. Они́ смо́гут сде́лать э́то тогда́, когда́ везде́, во все́м ми́ре отни́мут вла́сть из рук бога́тых, как э́то сде́лали ру́сские рабо́чие. Вы, ребята́, ви́дите, что ру́сские рабо́чие, хозя́йствуя на сво́ей земле́, даю́т возмо́жность свобо́дно учи́ться лю́дям всех племе́н, живу́щих на ру́сской земле́, и учи́т их не поддава́ться обмáну попо́в и внуше́ниям старико́в, че́й ра́зум сле́по затемне́н века́ми безгра́мотности.

Приме́ру рабо́чих ру́сских сле́дуют рабо́чие всего́ ми́ра, посте́пенно организу́ясь на борьбу́ про́тив капита́листов. И вы, молоде́жь племе́н Саха́лина, то́же должны́

принять в плоть и кровь вашу это учение, освобождающее весь трудовой народ земли.

Вам — как всем — надобно понять, что вы учитесь не только для себя, не только для того, чтобы освободить сородичей и единоплеменников ваших из плена тёмной старины, — вы учитесь для того, чтоб включить вашу свободную энергию в работу всего трудового народа земли, — в работу уничтожения угнетателей, хищников, паразитов.

Желаю вам, дети, бодрости духа и неутомимости в труде постижения грамоты!

31. III. 33.

Сорренто. Италия.

Письмо было направлено Горьким в посёлок Ноглинки, расположенный в десяти километрах от Охотского моря, на восточном побережье острова Сахалин. В этом посёлке была организована школа-интернат, где учились дети народов Севера — гиляков, тунгусов, ороchon.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Ла́нина.</i> Алексе́й Макси́мович Го́рький	3
Дед Архип и Ле́нька. Расскáз. <i>Рис. Б. Дехтерёва</i>	29
Челка́ш. Расскáз. <i>Рис. Б. Дехтерёва</i>	51
Стару́ха Изерги́ль. Расскáз. <i>Рис. Б. Дехтерёва</i>	85
Пёсня о Со́коле	98
Пёсня о Буре́вёстнике	104
Ма́ть (печа́тается в сокра́щении). Ромáн. <i>Рис. Кукры́ныксы</i>	106
Пёпе	191
Как я учи́лся. Расскáз <i>Рис. Б. Дехтерёва</i>	197

ИЗ ПИСЕМ

Е. П. Пёшковой. Май 1898	214
А. П. Че́хову. Октя́брь — ноя́брь 1898	216
Н. Д. Те́лешову. Дека́брь 1900	217
Л. Н. Толсто́му. Май 1901 :	218
Ф. И. Шаля́пину. Октя́брь 1905	219
Де́тям Саха́лина. Март 1933	—

Обложка и рисунок на титульном листе

В. Само́йлова

Для восьмилетней
и средней школы

Алексей Максимович Горький

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ответственный редактор

Г. В. Кузнецова

Художественный редактор

А. В. Панина

Технический редактор

Л. П. Костикова

Корректор

З. С. Ульянова

Подписано к печати с матриц 28/I 1975 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Печ.
л. 7,31. Усл. печ. л. 12,28. Уч.-изд. л.
11,46+5 вкл.=11,71. Тираж 100 000 экз. Заказ
№ 164. Цена 53 коп. Ордена Трудового
Красного Знамени издательство «Детская
литература». Москва, Центр, М. Черкас-
ский пер., 1. Ордена Трудового Красного
Знамени фабрика «Детская книга» № 1
Росглавполиграфпрома Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по де-
лам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, Сущёвский вал, 49,

Горький М.

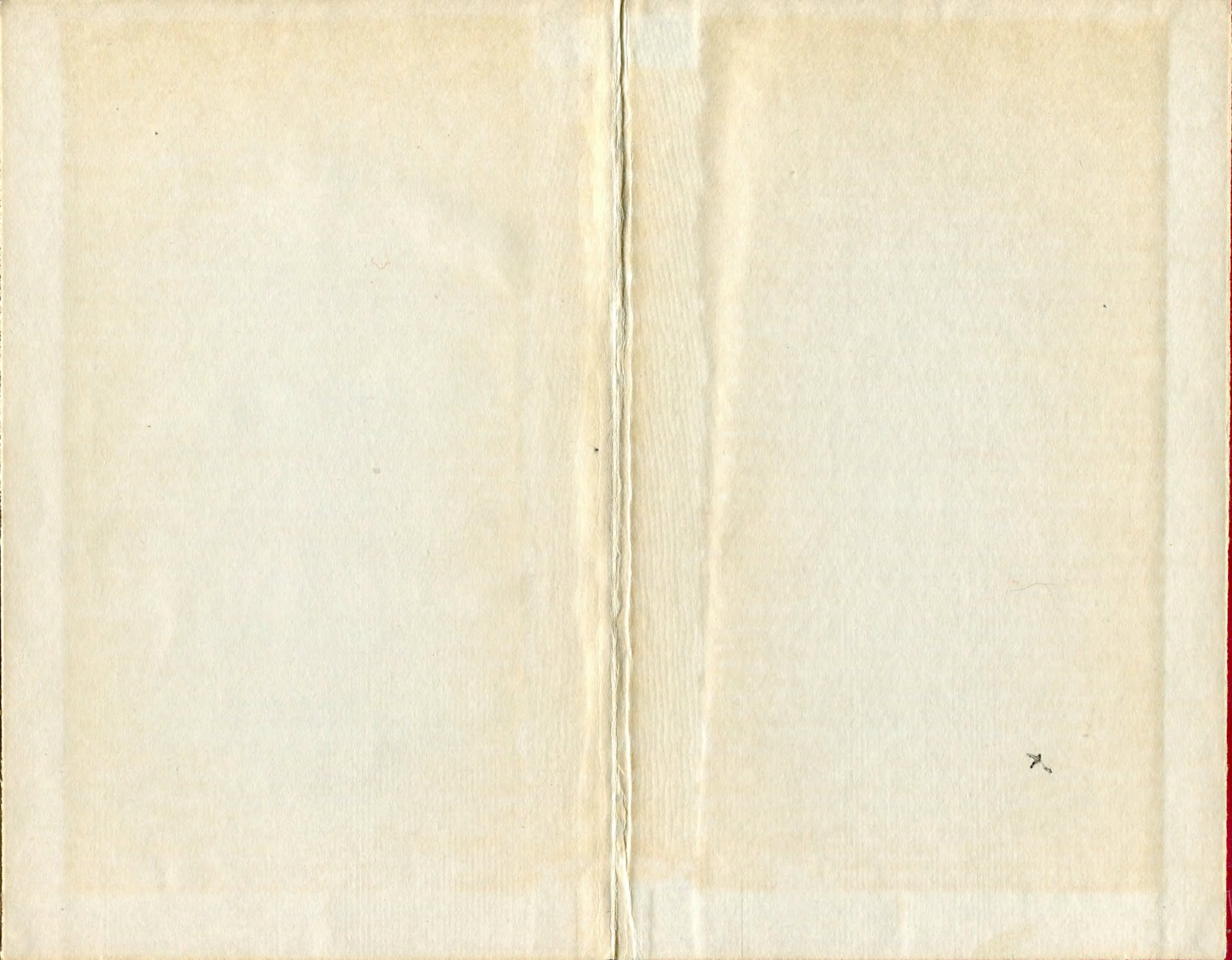
Г71 Избранные произведения. Обл. и рис. на титульном листе В. Самойлова. М., «Дет. лит.», 1975.

222 с. с ил. (Школьн. б-ка для нерусск. школ).

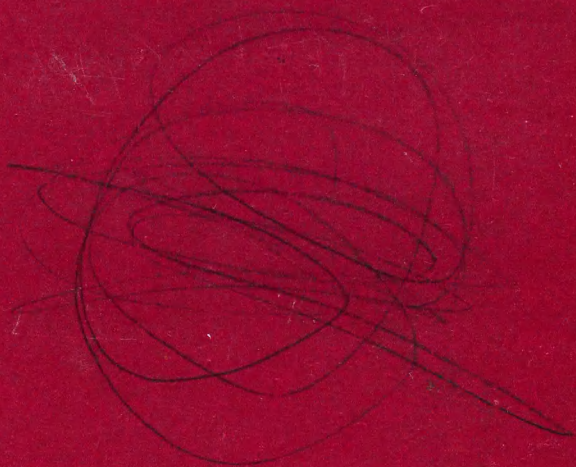
В книгу включены рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (в сокращении), «Как я учился», роман «Мать» (в сокращении) и другие произведения.

Сканирование - Беспалов, Николаева
DjVu-кодирование - Беспалов





Цена 53 коп.



М. Горький

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»